

Всеволод Иванов

НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ

рассказы 1939-1943 гг

568051



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1944



ПЕТЯ-ПЕТЕЛ

Петя был мальчик болезненный, хилый, но упорный до крайности. Когда надо было одолевать уроки, он одолевал их до того, что глазам делалось рябко и, вставая, он пошатывался. Но если, например, из физической географии нужно было выучить «выветривание гор», то, окончив урок, он необычайно явственно видел перед собой столбы выветрившихся пород. Граниты стояли расплывчатыми громадами, напоминая очертаниями своими скопления грибов, а песчаники тянулись колоннами, тощими и высокими, среди которых звонко плутал ветер. С собой Петя был рыж, вихраст, а за резкий, притужливый голос и за то, что он просыпался всегда почти с солнцем, его прозвали Петя-петел, а иногда и просто звали Петя-петушок.

Осень была длинная, сухая. Уже приближался ноябрь, но даже осины, и те не убрались на зиму, и листья падали так редко, как будто хотели падать всю зиму. В деревню приехали на шесть дней: Петя, чтобы оправиться после гриппа, а отец, чтобы окончательно продумать фюзеляж конструируемого им самолета. Отец был длинный, тоже рыжеголовый и тоже любил вставать с солнцем. Постукивая острыми носками длинных рыжих ботинок, он говорил поутру:

— Здесь-то мы его, фюзеляж, и обнаружим на природе, Петя-петел ты мой! Защищем, так сказать...

А когда они шли по длинной деревенской улице и встречали корову, то конструктор говорил, указывая на ее морду:

— Фюзеляж-то каков? Вот корпус не лётный! Верно-о!..

Накануне выходного из города приехала мать. Она была актриса, и когда возвращалась из театра, от нее пахло удивительно приятно, каким-то бойким и стремительным запахом. В старинных пьесах она очень хорошо играла изобретательных и веселых прислужниц, и Петя любил воображать, как забавно, без обиды для всех, она шутит на сцене, как хохочет театр. Впрочем, его редко пускали в театр: считалось, что ему вредно волноваться.

— По твоему горячему умозрению, — говорил отец, — тебе к сцене стремиться рано. Да и не для сцены ты создан, Петя. Конструктором тебе быть, по меньшей мере. А к тому времени человечество так шагнет...

И он показывал длинными руками, как к тому времени, когда Петя будет ученым, шагнет вперед человечество. Было нечто столь широкое в его жесте, что у Пети замирало сердце и загорались глаза.

Вместе с Петинной матерью приехал Василий Егорыч Коростылев. Этот мальчик всего на три года старше Пети, но у него такое серьезное и мрачное лицо, такие черные насупленные брови, такая многозначительность в движениях и полосе, что его иначе и не называли как Василий Егорыч Коростылев. С собой он всегда носил какие-то препараты, сумки, склянки, из карманов торчали лампы радио, и он все это старался перевести на «язык цифр». Взойдя на пригорок, где развернулась деревня, он посмотрел вниз по склону, откуда начинались рощи, и сказал:

— Здесь могут питаться одним приростом леса сотни автомобилей.

И тотчас же он рассказал Пете, каков собой газогенераторный автомобиль и каковы плашки, которыми он питается. Рощи внизу были в розовой дымке; чуть трепетали осины, а березки были в таких ярких желтых юбочках, словно летнее солнце оставило их на память о себе. Петя вообразил, как питаются — жуют и извергают легкий дымок сотни разноцветных автомобилей, как бегают они по полянам, среди черных куч торфа, которые колхозники возят отсюда для удобрения полей. Петя спросил робко:

— Но ведь и торф тоже сгодится? Для авто?

— О торфе думаем, — ответил Василий Егорыч Коростылев и, нахмутив свои черные брови, перешел к разго-

ворам о Чехословакии. Он был яростным и дальновидным политиком: он считал, что немецкий агрессор ползет теперь через Чехословакию на Балканы и далее...

Изба, которую семья снимала каждое лето и осень, стояла на краю деревни, возле школы. Сразу же за школой начинались рощи, сначала редкие, а потом все гуще и гуще.

В избе опрятно и уютно. Большая белая кошка встретила их ласково, подняв трубой широкий пушистый хвост. Ах, по всему видно, что предстоит веселый и содержательный вечер!..

Но едва зажгли желтую керосиновую лампу, едва побежали по гладким выбеленным стенам красивые и удивительные тени и кошка стала похожей на тигра, как неожиданная обида посетила Петю. Началось с того, что Василий Егорыч Коростылев, положив у ног своих толстый рюкзак и длинный туго набитый мешок, не стал распаковывать их, а мешок этот чрезвычайно заинтересовал Петю. Можно подозревать, что там находится складная лодка. Хотя речка и в восьми километрах, но Василий Егорыч Коростылев, по его выражению, «любит преодолевать расстояния». Василий Егорыч Коростылев смотрел на мешок и рюкзак, лицо у него было встревоженное, задумчивое, и было в нем, как думал Петя, нечто от Чапаева. Поджав губы, он, видимо, распаковывал вещи в воображении, чтобы, если уж приступить наяву к распаковке, то чтобы не пропала ни одна минута!

Петя безмерно уважал Василия Егорыча Коростылева. В то же время Петя не хотел и унижаться. Он спросил несколько резко:

— Что же вы предполагаете делать?

— Отстань, мальчик, — басом сказал Василий Егорыч Коростылев, и какая-то грубость послышалась в его голосе.

Тогда Петя подошел к отцу. Отец только что кончил Коростылеву свое сообщение. А сообщение это действительно удивительное!.. Вчера отец, попрежнему мучаясь над своим фюзеляжем, пошел гулять в рощу. Идет он по роще, и Рыжик, собака, обычная дворовая собачонка, крошечная и остренькая, напоминающая лису, вдруг подняла из осинника выводок тетерок, чуть ли не шесть штук!

Вытянув между колен длинные и крепкие руки, стец

задумчиво смотрел на мешок, лежащий у ног Василия Егорыча Коростылева. И вдруг Петя понял, что Василий Егорыч Коростылев привез ружья! Понятно стало, почему ночью отец ходил на телеграф, и сразу стали понятными очертания мешка. Они сбились на охоту! И отец и Василий Егорыч Коростылев ждут, когда заснет Петя, чтобы достать ружья и чтобы завтра раным-рано уйти в лес. И стало понятным, почему, подойдя к избе, Василий Егорыч Коростылев достал из своих бесчисленных карманов обрезки колбасы, завернутые в бумагу, и дал их Рыжику и почему эту собачонку впустили в избу...

Петя едко спросил:

— А если это взлетели галки?

Отец, не отводя взора от мешка, сказал:

— Сам ты галка. Поди, спи.

И лицо у него стало взволнованное. «Ну, понятно, — думал Петя с обидой, — волнуешься, когда придумываешь наиболее удобный и полезный фюзеляж! А волноваться над какими-то галками, которые, неизвестно зачем, шляются по осиннику...» И Петя подошел к матери. Мать внимательно посмотрела на его горящее лицо и встревоженно спросила:

— Ты сегодня термометр ставил, Петя-петел?

Пете и это показалось обидным до крайности. Уже четыре дня температура у него была нормальная и он чувствовал себя великолепно! Просто его гнали спать. Однако он сказал, будучи мальчиком гордым и выдержанным:

— Спать хочу!

Мать приняла эти слова за должное. Она проводила его в комнатку через крошечный коридорчик. Здесь он спал вместе с Василием Егорычем Коростылевым, оба на плетеных диванчиках, причем постель Пети была покрыта гордостью его — пуховым одеялом. Но теперь ему было противно ложиться под это пуховое голубое одеяло, и все же он медленно лег. Он поцеловал маму без того особенного и мудреного удовольствия, с которым он целовал ее всегда, и сделал вид, что закрывает глаза. Он слышал, как мать, прикрывая дверь, проговорила:

— Он устал, а вы туда же еще...

Он не дослышал конца фразы. Ему жаль добрую и

замечательную маму, которая поняла, что его, Петю, незаслуженно обижают!

Отец и в особенности Василий Егорыч Коростылев никак не могут этого понять! Из той комнаты, где кушали, звуки доносились глухо, но все же среди голосов можно разобрать, как чавкает затвор ружья, как Василий Егорыч Коростылев достает припасы, как падают тяжелые медные патроны и как один укатился под стол, как с ним пробовала играть кошка, перекатывая его, и как Василий Егорыч Коростылев отогнал эту кошку.

Великая горечь терзала Петю. «Отец, — думал Петя, — тоже называется—общественный деятель, изобретатель... портрет Сталина на столе держит. А разве так общественные деятели поступают?.. разве так надо жить при социализме?» Еще как-то понятно разочарование в приятеле, в Ваське Коростылеве. Он подавал к этому разочарованию все основания! Оно давно копилось в душе Пети. Но отец!.. Отец, который всегда понимал так много и обширно, к которому можно обратиться за решением любой задачи... Отец поддался влиянию Коростылева, тупого и самодовольного химика!..

И вскоре Пете захотелось им отомстить. Долго он думал, что бы такое найти одинаково горькое для них обоих, — и придумал! Сначала он хотел, вставши раным-рано, вывалить из зарядов всю дробь, но затем решил, что на эту операцию у него нехватит времени. Тогда он вспомнил, что Ульяна Максимовна, хозяйка избы, встает еще до рассвета, чтобы гнать свою «Чиганку» в стадо. Как только поутру раздастся густой голос «Чиганки», черной и востророгой коровы, Петя поднимется. Через терраску он выйдет в рощу. Он знает овраг, со дна которого Рыжик поднял выводок. Нужно пройти дубы, подняться к соснам, а там, за поляной, виден этот красноватый овраг. Пересечь овраг раза три-четыре! Терки поднимутся и улетят! Пусть-ка после этого ищут в лесу дичь злополучные охотнички...

И он представил себе, как встает. На дворе еще синё. Крупный иней покрывает землю. Глинистая твердая дорожка доводит его до дубового леска. Он идет, обгоняя стадо, и пастух с длинной трубой, сделанной из белой жести, спросит его:

— Куда так рано?

Петя ответит, что за берестой для растопки или,

лучше всего сказать, что за грибами. Пастух, молодой парень с одутловатым лицом, очень словоохотлив. Он предложит ему взять вправо, в сосновый лесок, там водятся рыжики, но Петя будет брать всё влево, всё влево, — и вот перед ним овражек, и вот осинник. Он идет, раздвигая руками мокрые, покрытые инеем ветки. Вдруг Рыжик, который увязался с ним, остановится. Слышится характерное трепетанье крыльев, и громадный выводок тетерок поднимается по прямой из осинника. И тогда-то Петя скажет: «Так вам и надо! Не обижайте, не презирайте молодежь, она ваша надежда, она надежда всех...»

И как только он мысленно сказал эти слова, так почувствовал, что все его лицо наполнилось слезами и стало таким мокрым, как будто осины всего лесочка опрокинули на него свои мокрые и круглые листья. Ему стало жалко не только самого себя, вынужденного к такому поступку, но и отца, который оторвался от жизни, и Василия Егорыча Коростылева, который так углубился в науку, что уже не понимает простых и честных отношений между людьми, а больше всего почему-то стало жалко свою добрую и ловкую маму, которая не понимает всего ужасного, что происходит в семье.. Осинные листья качались над ним сильнее и сильнее. Трепыхание тетеревиных крыльев делалось громче и слаще, и всё это закружилось вокруг, — и он заснул..

Когда он проснулся, было отличное солнечное утро. Сияние такое, что невозможно почти открыть глаза. Возле его кровати стоял отец. Рядом с ним Василий Егорыч Коростылев. В руках у них сверкающие ружья. Отец спросил:

— Выспался?

Петя еще не вспомнил обиды. Блеск ружей ослеплял его. Он посмотрел на отца и ответил охотно:

— Выспался.

— Мы тебе не говорили, что на охоту собираемся: чтобы ты, брат, не волновался, а выспался. Идем, Петя-петел!

— Вставай, Петя-петушок, золотой гребешок, — говорит Василий Егорыч Коростылев.

И вот они идут все вместе. И вот перед ними дубовый лесок. Они проходят его. Затем они пересекают осинную рощу. И вот виден уже и красноватый овражек,

весь доверху наполненный трепещущим осинником. Воздух неподвижен и ярок. Крайняя осинка, возле тропы, такая розовая, словно стесняется, зная, что тетерки здесь, а сказать-то она не в состоянии!

Рыжик насторожил острые ушки. Петя весь дрожит. Ему кажется, что если отец и промахнется, то Василий Егорыч Коростылев, который так же уверенно держит ружье, как пробирку, непременно, с удивительной точностью, направит свой заряд туда, куда нужно! И Пете удивительно хорошо. И он не может вспомнить, что думал вчера ночью. Жизнь великолепна и хороша. Великолепен и радостен лес вокруг, — и зачем думать о ночи?..

— Чш... чш... — шепчет отец, приподняв палец и показывая на Рыжика.

И всё вокруг замирает в томительном и сладком ожидании.



МРАМОР

Студенты-геологи Ваньков и Драницын задумали побродить в Алтайских горах. Маршрут они выбрали громадный и замысловатый, так как, помимо своей специальности, Ваньков любил обильные воды и нетощих рыб, а Драницын жаждал искать среди гор, в особенности среди горных лугов, луковичные растения. Маршрут — маршрутом, но с деньгами горькохонько, или, как говорил Ваньков, «поплавки на сетях, а грузила еще отливают».

Подумав, они пришли в один из отделов строительства Дворца советов и сказали, что за умеренную плату они могли бы отыскать ломки самого лучшего и пригодного строительству мрамора. С ними обошлись вежливо: показали образцы, поступившие со всех концов Союза. Но Ваньков и Драницын резко заявили, что данный кристаллический известняк, может быть, и годится для распределительных досок и рубильников, но не для отделки здания, воплощающего в себе всемирную гордость и победу. Показывавший образцы, высокий инженер с большими дугообразными бровями, вздохнув, сказал, что в молодости-то и он мог так же думать... Одним словом, денег не дали.

После этого студенты поступили внештатными электромонтерами на спешно достраивающуюся Сельскохозяйственную выставку и в непрерывной и веселой работе, правда, заметно отощав, вышибли по пятьсот рублей, получили по сотне от родителей, — и поехали на Алтай. Но так как разговор их с гордым дугобровым инженером не отходил от них, то незадолго до отъезда они написали в районный центр вблизи села Андроновского

на Алтае, откуда предполагали начать поиски и пешеходство, — что вот, мол, «в ваш район едут студенты-геологи, добровольцы, по изысканию мрамора для Дворца советов и не слышал ли районный центр чего-либо о мраморе, потому что, по всем данным, Андроновская долина лежит в разделе, по одну сторону которого кончаются горы изверженных пород, а по другую начинаются неизверженные?..»

Мелькали задымленные и замасленные, мелкие и частые, как икра, станции; пылью и копотью плыли им в лицо города; отовсюду лезли пассажиры, радостные и торопливые, словно нивесть что ждали по ту сторону билета. Равнина, равнина... Но вот наконец утром Ваньков и Драницын увидели горы. Они лежали, как лежит отдыхая человек на боку, опершись локтем и разглядывая возле себя травинки и словно бы что-то считая и отмечая. «Да, не могу хулить такие кристаллы», — хотел было сказать шутя Ваньков, но из уважения к горам промолчал. Поезд пошел заметно гулче. Молодые люди стояли у окна, оба лучистоглазые, одного роста, в полосатых рубашках, и горы казались им близкими и понятными, словно тень их дружбы.

Районный центр, конечно, они проспали и высадились дальше, мало довольные своим поведением, так как пришлось уплатить разницу за билеты. Поезд ушел. Они стояли возле огородика, у станции, положив рюкзаки на землю и разминая большие лыжные ботинки, подкованные железом. Они жалели друг друга: путь дальний, а тут тебе тащить рыболовную сеть, а тебе — банки для лужовиц.

Телеграфист шел мимо. Улыбнувшись, он взглянул на них.

— Экспедиция? Или экскурсанты?

— Извозчика где нам нанять? — в свою очередь, насмешливо улыбаясь, спросили они. — Нам в Андроновское.

— Извозчика? В страду? Да тут вообще извозчиков нету. Из района идет автобус. А вы зачем же здесь высадились?

— Мы за мрамором, — ответили они несколько сконфуженно.

— А-а... — проговорил телеграфист, с уважением раз-

глядывая геологические молотки. — Надо бы вам обратиться в район, а то так-то далеко шагать...

Студенты купили по большому караваю хлеба, проверили количество своих консервов, — и вернулись в село Андроновское, чтобы оттуда, горами, выйти чуть ли не в Горную Шорию. Шли они быстро, но все же потребовалось почти четыре дня до Андроновского.

Вдоль дороги стояли сосны, кое-где высывая из песка толстые смолистые корни. Изредка дорога пересекала долину или реку, и тогда особенно благовонные и мягкие запахи оведали их. Воздух казался светлозеленым, а облака над долиной — как цветы.

Они выходили на каменный, скалистый мыс на реке, — «лбище» или «бычок», как называют его здесь, — и разжигали костер, чтобы испечь картошку и сварить чай. Берега речки были изрезаны узорами, как песня жаворонка, — и молодые люди, под шум и грохот воды, говорили о том, будет ли в данное великое противостояние Марса подтверждена его обитаемость.

В Андроновское пришли к полудню. Ночью выпала крупная роса, и как ни сильно шагали молодые люди, все же они только-только успели согреться, да и поели вчера они мало. Они отыскивали школу, чтобы навести справки: учитель-то, небось, не на страде. Учитель Кущенко, рыжий огромный мужчина, которого, казалось, природа соорудила из всякого подручного припаса на скорую руку, и говорил-то на разные голоса. Он запел ребячьим дискантом, пожимая им руки и радостно заглядывая им в глаза:

— Ну, а я думал, вы не доберетесь, товарищи студенты! Самовар у меня чуть не перегорел! Третий день жгу!

— Почему вы нас ждали?

— А как же, как же! Телеграфист вас видал? Видал? Ну, и стукни по аппарату в район. А оттуда мне по телефону: ты, дескать, случайно не обидь студентов. — И он захохотал вдруг неслышанно толстым басом. — Но покушайте, покушайте, а там и в классную. Ха-ха-ха!..

Студенты покушали, — и покушали изрядно, а покушавши, поняли, что дорога была длинная и, с непривычки, утомительная. «Хорошо будет заснуть в классной», — думали они, идя за учителем. Посреди коридора они увидели плакат. Содержание его несколько изумило и

даже встревожило их. «Привет Дворцу советов и его строителям», — прочли они.

— Это кого же приветствуют? — спросил Ваньков.

— Приветствуют вообще, а в частности, конечно, и к вам относится, как к добровольцам, — ответил бурно учитель, широко распахивая дверь в классную.

Сердца у студентов забились с отчаянной силой. То, что они оглядывали сейчас, было необыкновенно, удивительно.

Весь пол от классной доски до парт и вся поверхность парт были покрыты белыми, желтыми, синева-серыми камнями, под поверхностью которых, как под папиросной бумагой раскрашенный рисунок, чувствовались тона и краски необычайные! Камни были разных размеров, но все же не больше кулака, и по следам мотка можно было понять, что отбивали их неопытные ручки.

— Это кто же, школьники? — спросил Ваньков.

— Они! Добровольно! Может быть, пройдем в старшие классы?

— Пройдем.

День разыгрался. Сияние наполняло большие светлые комнаты и с особенной силой сверкало возле камней, создавая как бы целые озера света вокруг них. Мрамор играл то серым с белым, то по молочному бежали розовые прожилки, то на черном танцевала какая-то дальняя, еле уловимая зелень, то буро-красный был весь покрыт черными крапинками. Драницын взял осколок. «Хорош камень», — подумал он и весь как-то даже продрог от восторга. Учитель уловил его восхищение и сказал:

— Такой сорт у нас любовно «индюшкой» называется! Более подходило бы назвать его фазаном! — Учитель схватил пурпурный камень с белыми гнездами и воскликнул: — А этот прозвали у нас восходным! Его бы порекомендовать на купол или на плафон!

— На купол было б отлично, — глухо подтвердили студенты, и учитель подумал: «Дельные ребята, осторожно к жизни относятся».

— Ну, что ж, пора, пожалуй, и на базар итти? Еще, небось, привезли.

— Чего?

— Ну, и продуктов, а для нас — мрамору. Колхозникам, им по пути на базар — я и осведомил. Захватят, кто интересуется. Так на базар?..

Но на базар итти не пришлось. Как колхозники ни торопились покончить базарные дела, они все же находили время свернуть и свалить на школьный двор глыбу-другую мрамора. Теперь уже студентов встретили не робкие детские образцы, а громады, которые и поднять-то было трудно двоим.

Лежали глыбы розово-красные с темнозелеными авгитовыми кристаллами, желтовато-бурые с прекрасным восковым блеском, сквозь дымку которого, — уже почти во времени, — можно было увидеть чье-то высеченное лицо.

Седой колхозник Астырев привез широкую черную полосу мрамора с белыми окаменелостями. Поправив зеленые от травы штаны и вспрыгнув в телегу, сильно пахнущую дегтем, старик сказал:

— Знаем, что строим. Знаем и где достать, молодые товарищи.

Глаза у него блестели молодо, как куски этого привезенного им мрамора, а седые брови весело ходили по широкому загорелому лбу.

— Откуда у вас так много его? — спросил Драницын.

— Мрамора? — сказал старик. — А мы мрамор этот пережигаем на известь. Ну, и знаем, где и как. У нас такая долина. Давно хотели почтить Москву. Понадобится, так все горы распластаем!..

Студенты, чтобы собраться с мыслями, сказали, что желают искупаться и немного отдохнуть.

Река разделяла прямой светлосиней чертой всю Андроновскую долину как раз на изверженные и неизверженные породы. Впрочем, на первый взгляд горы одинаковы как с той, так и с другой стороны, и кажется, что одна сторона отражает другую.

По берегу — выгруженные лодки. На дне их блестели рыба чешуя и тонкие стебли осоки. Подплыло еще несколько запоздавших лодок. Мужчины вынесли корзины с рыбой. Женщины шли с небольшими чемоданами и бидонами под керосин. Три рыбака остановились возле студентов. Спросив, как их здоровье и откуда они, не из Москвы ли, рыбаки достали со дна корзины куски бе-

лого камня с ярко-малиновыми пятнами, словно на нем раздавили ягоды или рыбы оставили сгустки крови.

— Камень у нас красив, да трещеват, — сказал рыбак, тощий, с широкими черными глазами, — вот по ту сторону долины лучше: из того камня хоть кружево делай.

Купанье не освежило студентов. Им то казалось, что они стоят против солнца, — ничего не рассмотришь, то будто ожгло их ветрами и светом, и кожа даже, казалось, лупилась, а то просто ныло сердце. Тогда они направились в горы. Но едва они миновали базар, что пел, грохоча и скрипя на все голоса, пронизанный светом и горным ветром, догнал студентов Степша, братишка учителя. Встав перед ними на дороге, он сказал:

— В горы, что ли, пошли? Братан увидел, велел сказать: чего здоровье тратить? Надо с мужиками посоветоваться! Они скажут, где какая порода. А мы во-о еще какую нашли!

На ладони его лежала пластинка мрамора толщиной в сантиметр, и, несмотря на эту толщину, студенты могли сквозь эту пластинку увидеть на детской ладони еле уловимые линии. Студенты взглянули друг на друга. Куда же действительно пойдешь, что же можно найти лучше, если самые лучшие сорта мрамора пропускают свет на глубину только до четверти сантиметра, а здесь почти на сантиметр!

Степша полез в карман и вынул еще кусок, белый, похожий на снежный ком, со слабыми желтыми пятнами, казалось, столь мягкий и пушистый, что на нем отпечатались следы пальцев мальчонки.

— Годится? Вот только пионеры боятся: прочен ли?

— Прочен, прочен! — ответили студенты, смеясь и поворачивая к школе. — Да и как тут не быть прочному, раз у вас вся жизнь такая.

— Какая? — спросил мальчонка, не поняв их размышлений.

Студенты только смотрели на него, улыбаясь нежно и радостно. Удивительная жизнь! — хотели они сказать. И, посмотрев друг на друга, они рассмеялись. Мальчонка тоже рассмеялся, не зная причины смеха, но радуясь замечательно полному и сердечному звуку его. А студенты смеялись над тем, что не придется им, видно, ходить по горам, разыскивать, измерять, высматривать, — только бы выбрать лучшие сорта, да запаковать,

да отправить в Москву к гордому дугобровому инженеру, да, пожалуй, еще проверить — много ли этого самого лучшего сорта мрамора в горах. Наверное, много, скалы стоят нетронутые. «Удивительная, волшебная, сильная жизнь! — думали они, быстро идя к школе. — Стоило только узнать, что для Дворца советов, и без всякого распоряжения, почти без слов, без митингов, вышли и легли перед ними, искателями, замечательные, редкие камни!» И с крайним изумлением и восторгом шли студенты по селу, прислушиваясь то к песне, доносившейся издалека, то к шуму и грохоту базара, то к шелесту деревьев, которые колебал горный ветер, то поглядывая на солнце, уже высоко стоявшее в небе, — солнце, огромное, сияющее, широкое солнце действительно удивительной и всегда творчески неожиданной страны нашей.



ГОРЕ

— Да, счастье ревниво! Значит, ему, как всякой ревности, свойствен стыд. А стыд — это молчание. И получается так, что о настоящем счастье мы помалкиваем, а то определение счастья, которое у нас сходит с языка, неправильно, неточно...

— Получается, по-твоему, Александр, что всякое счастье, в котором мы признаемся, — самообман в лучшем случае?

— Да, это — желание иметь счастье. Хоть какое-нибудь! Хоть сколько-нибудь! Вполне законное желание, между прочим. Кхе-к!

Здесь доктор Макарьевский издал короткий сиплый звук, означавший, что рассуждения его окончены и пора на работу. Однакож, сдернув с руки халат и бросив его на спинку стула, он вернулся к окну.

Солнце с усилием, точно когтями, проскочило сквозь тучи. Лучи его проникали всюду. Они лились с травы, с листьев, еще застегнутых по-весеннему, с мокрой крыши, — и так обильно, что словно ветерок сквозил на сердце. Обширный двор с колодцем посредине, поставленным будто для перспективы, — доктор изредка писал акварелью и потому любил художественные перемены, — двор за одну ночь покрылся высокой и стройной травой. Пузыристая роса дрожала на ней.

Сыро заскрипели ворота больницы. Один раз, другой, третий. Пора начинать прием.

Александр Яковлевич обернулся к жене. Она стояла, прислонившись к шкапу, держа в руках лущающийся изношенный портфель. Круглые, большие и какие-то плотные глаза ее смотрели на мужа с нежностью и любовью. Под широким утиным носом ее слегка дергалась

упругая верхняя губа. Лицо ее, как всегда во время подобных споров, было немножко и задорное, немножко и виноватое. Доктору было приятно, мило смотреть на него. И, как всегда, немножко грустно. Вот так спорят каждый день они, а зачем?.. Доктор улыбнулся и слегка потрепал жену по плечу.

— Иди, иди, утица, иди, саксонушка, — сказал он тихо. — Утятя тебя, небось, ждут — не дождутся.

— Постой, постой, Александр, — удерживая его руку на плече, проговорила жена. — Тебе словно бы жаль, что ты счастлив?

Он ответил ей так, как отвечал часто, а отвечал потому, что фразу эту впервые решилась высказать она:

— Счастье без ребенка, Иринушка, все равно что заем без отдачи. Ну, ступай к своим школьным утятам... Утка крикнула, берега звякнули, море взболталось, а сердце, как море, заколыхалось. Что это такое?

Жена засмеялась. Она любила загадки и знала их во множестве. Но юн нашел-таки новую! Она пообещала принести отгадку вечером, а кстати попросила его зайти к ней в школу, когда он будет возвращаться с охоты. Она освободится поздно, так как после занятий у них производственное совещание. И жена ушла быстрой своей походкой, выкидывая вперед руки, точно собираясь бороться.

С уходом жены боль, возникшая вследствие их разговора, как будто утихла. «Говорят, отмель утишает волнение, — думал доктор. — Возможно! Но все-таки корабль, мной ведомый, видимо, недавно покинул глубины, потому что они всё еще мерещатся и всё еще от их томной таинственной синевы бьется сердце». Натянув халат и собирая бумажки, которые надо было унести в больницу, доктор продолжал думать о жене: «А как широко и быстро разносится несчастье, Иринушка! Вот пример. Никогда и никому мы не жаловались, что главное наше несчастье — отсутствие детей. Но все знают и обсуждают, что у доктора Макарьевского и его жены, учительницы Телешовой, нет детей. Ах, как жаль! И не будет? Ох, горе, горе!.. А будь мы отсутствием детей довольны, кто бы судачил? Вообще счастье существует в жизни, как тень в картине: тень необходима и замечается только художниками, а попробуй отдохни в этой тени».

Что весна была дружная и тем возбуждала волнение, заметно по лицам пациентов. Хворать вообще никому не хочется и, как говорил больничный сторож Матвей: «Госпитальной песни никто не учит», но сейчас, помимо стремления поскорее выздороветь, чувствовалось что-то особое. Оттого Александр Яковлевич старался скорее выслушать, выстукать, прописать лекарства, — да и вообще быстрее надо лечить!

В кабинете сельской больницы, чистом, светлом, с голубовато-серыми обоями и с акварелями, изображающими виды колхоза и писанными докторской рукой, пахло по-весеннему. Даже запах лекарств и больным и доктору казался каким-то милостивым, возвышал. Рядом, в приемной, забавным басом гудела Юлия Васильевна, медсестра, рослая и всегда раздраженная. Раздражалась она всегда на глупости — и не в своей жизни, а в чужой. А таких глупостей знала она великое множество, если ей поверить, то легко может показаться, что мир сошел с ума.

Часам к двум доктор, почувствовав легкое головокружение от напряженного труда, встал и сделал несколько шагов по кабинету. «Да, годы, почтеннейший товарищ! Пора уже и бороду вам отращивать. Вот прошлой весной такого не было, а теперь устаем, раздражаемся...»

Высокий мужчина в ворсистом черном пиджаке, с орденом на груди, снял с телеги мальчика и легко понес его на руках к дверям приемной. Женщина, тоже высокого роста, но худая, взяла одеяло и тулуп, которыми был прикрыт мальчик. Мальчик сильно кашлял. Отец нес его осторожно, с силой ставя ноги, как будто прокладывая дорогу в неизвестном месте. Доктор узнал мужчину. Это был Копылов Иван Петрович, один из передовиков колхоза, веселый и расторопный, с таким раздольным смехом, что его по смеху узнавали за километр. От жены своей доктор много слышал и о сыне Копылова — Сергуньке. Одно время доктор, увидав Сергунькины рисунки, собирался даже дать ему несколько уроков рисования... А теперь, и не выслушивая, доктор мог определить, какая болезнь вызвала этот ненасытный кашель, эти поклоны тела и этот свинцово-серебристый цвет век.

Хотя доктор занимался своим делом уже свыше семи

лет, но, странно, он до сих пор весь трепетал, когда выслушивал ребенка. Ему все казалось, что он не поставит правильный, диагноз. И сейчас сердце забилося, заныло.

— Случается, случается, — бормотал он, то придвигая ухо, то отодвигая его от горячей груди ребенка.

Мать, показавшаяся ему вначале растерянной и недалекой, отвечала вполне толково. В начале болезни она помогла ребенку самыми разумными мерами, а вот сам Иван Петрович, как вошел в больницу, так ничего не мог вымолвить и только поднимал плечи, смотрел вбок, в окно. Лицо у него грузное, и видно, что он всячески старался не расплакаться.

Доктор, глядя на отца, сказал, что у ребенка легкая простуда, но по такому ветру и после только что выпавшего дождя лучше парня не возить, а оставить его денка на три-четыре в больнице. Мокрая курчавая голова мальчика с просторными голубыми глазами пристально смотрела на него. Доктор узнал хорошо знакомую ему жажду жизни, эту безмолвную и страстную мольбу.

— Навещайте нас почаще, — сказал доктор родителям, поглаживая ребенка по голове. — Мы, видно, своих домашних любим, а, Сергунька?

Мальчик молчал.

Окончив прием, доктор долго сидел за столом. Ни обедать, ни тем более идти в поле ему не хотелось. В газете он увидел статью о положении на Балканах, развернул, но читать не мог.

Ему казалось чрезвычайно странным, что свой ребенок, о котором он думал часто, непременно должен был бы походить и походить бы непременно на Сергуньку. Превосходный товарищ, друг, вдохновенно любивший мир, науку, книги, аппараты, со стальным перышком обращавшийся осторожно и нежно, как спенчиком, Сергунька умел так рассказывать о книгах, что, когда в школу прибывали новые книги и на столе появлялись золотые и серебряные переплеты, синие, красные, зеленые обложки, сердца всех ребят ныли, и даже самые залихватские шалопаи чувствовали в классе какой-то особый мудреный и зовущий запах приключений среди этих листов с колон-цифрами.

Чтобы иметь возможность почаще навещать Сергунь-

ку, доктор положил его в палату, где не было больных. Когда доктор вошел в палату, солнце уже закатывалось и никелированные перекладки кровати ловили золотистые лучи его. Мальчик лежал, подперев голову рукой и глядя на эти полосы. Лицо его горело. Хлспотливо метались в его голове судорожные и бессмысленные видения. Но все же он узнал доктора и даже нашел силы, чтобы сказать:

— Это когда же ты успел нашу школу нарисовать? Я тебя и не видал! Ты где сидел-то?..

Но большие он уж ничего не мог ни спросить, ни добавить. Видения опять обступили его. Вошла сиделка. Увидав доктора, она на цыпочках приблизилась к кровати и подала ребенку воды. Должно быть, лицо доктора выражало большое страдание, потому что у сиделки сделалось беспокойное лицо и на ресницах ее показались слезы. «Надо соблюдать дисциплину», — подумал доктор и встал.

Он вернулся в приемную. Еще час назад он вспоминал запахи поля, шелест прошлогодней травы, не скошенной возле кустов, полет птиц над весенними сиреневыми деревьями, тяжелые их ветви, липкие, точно покрытые медом... ничего этого теперь он не помнил! Заломив руки за голову, он ходил по кабинету то поперек, то вдоль стен. Стемнело. Через двор, выкидывая вперед руки, прошла жена. Вот она зажгла электричество, опустила занавеску и, видимо, села править тетрадки.

Все, что можно предпринять, — предпринято. Но ход болезни так стремителен, что почти бесполезно все это предпринимать. Какое страдание! Пройдет два-три года, и вот какой-нибудь врач — в Москве ли, в Харькове ли, а то еще где-нибудь — откроет такое средство, которое в самом начале, как только поставишь диагноз, сразу ликвидирует очаг болезни. Но почему сейчас должен погибать замечательный, талантливый ребенок, в будущем, быть может, великий художник или ученый? Почему сейчас именно должна ломаться жизнь его отца и матери, честнейших и умнейших людей, которые творят чудеса в поле, и если уж пропишут рецепт земле, так непременно вылечат ее? И почему, наконец, ему, доктору Макарьевскому, причинено такое горе?

Доктор взял графин и посмотрел сквозь него на электрическую лампочку. Свет ее походил на клюв.

Графин был пустой. Это даже несколько обрадовало доктора. Он нашел предлог пройти на кухню за водой, а по дороге завернуть в Сергунькину палату.

Уже вся больница знала, что доктор Александр Яковлевич волнуется. Медсестра Юлия Васильевна стояла на кухне с термометром в руке и рассказывала о подобном же случае с ее родственником, ловцом на Каспии. Доктор наполнил графин водой и почему-то, виновато улыбаясь, спросил, окончили перекладку крыши над кухней или нет. Ему хотелось поговорить, переломить в себе что-то... но слова все были лишние, ненужные. И остальные люди тоже желали, видимо, ему помочь, но тоже говорили лишними и ненужными словами.

Когда доктор шел обратно по коридору, из палаты появилась сиделка. На вопросительный взгляд доктора она, со слезящимися глазами, прошептала:

— Пышет. За сорок...

...И ребенок, и доктор мучались пять дней.

Тревога, разъедавшая доктора, передалась не только всей больнице, но, казалось, и всему селу. Жена уже не говорила о школе, да и сам доктор не спрашивал ее, а большей частью молчал. Ночью он вскакивал с постели, зажигал лампу, ища в медицинском справочнике ту страницу, которая приснилась ему, затем он выходил во двор. Ночи были темные, высокие, и звезды сверкали так необыкновенно ярко, словно были они закрыты всю зиму.

Во дворе он как бы не мог разойтись со своей тоской, которая все время шла ему навстречу. Он выходил за ворота. Какие-то две темные фигуры на дороге. Он узнавал родителей ребенка и поспешно возвращался домой. Чем он мог их утешить? День они работают на севе, но с вечера спешат в больницу, расспрашивают сиделок, ловят сестру.

Сергунька лежал уже в беспамятстве. Хриплый кашель сотрясал его тело. Когда сквозь муть и беспорядочный горячий туман, заполнявший его сознание, он на секунду понимал, что перед ним доктор, и говорил два-три слова, сердце у Александра Яковлевича болело так, что хотелось лечь на землю и всему обратиться в немолкаемый и горький вой.

На шестые сутки Сергунька умер.

Доктор узнал о его смерти по лицу жены. Всю ночь

доктор не спал. Он сидел у кровати больного и, не отводя взора, глядел на его потемневшее лицо и крапины, показавшиеся возле губ. На рассвете доктор вышел за ворота, взял Копылова за холодную руку и молча ввел родителей в палату. Мальчик лежал на спине. Пальцы его сновали. Мать упала на колени. Отец зарыдал. Доктор стоял долго подле них, опустив руки. Губы его передергивались, и всем было крайне тяжело смотреть на эту гримасу страдания. Солнце бросало от ворот длинную тень, похожую на кисть, когда он входил в свою квартиру. Он выпил стакан холодного чаю, подпер голову рукой, задумался, да так и заснул у стола.

Жена разбудила его. Лицо у ней было какое-то замерзшее, дрожащее, цвета парусины. Слезы застревали на упругой верхней губе. Поглаживая рукой его плечо, она смотрела в окно. Из больницы вынесли мертвое тело мальчика. Сыро скрипели ворота. Доктор вспомнил вчерашнюю ночь, и ему опять стало невыносимо тяжело. Он встал, оперся о подоконник и, смахивая пыль с окна, хотя никакой пыли там не было, сказал:

— Хоронить будем, Иринушка, нашего Сергуньку.

Они стояли обнявшись и плакали. Во дворе было тихо. Только один раз кто-то ударил молотком по железу, должно быть, больничный сторож хотел починить ведро, но вспомнив, что у доктора горе, унес ведро обратно. Они не заметили, как вошел в комнату Иван Петрович Копылов. Он шел грузно, но твердо, как командир шеренги солдат после долгого боя, но сил хватило только дойти до стола. Он сел на табурет, опустил руки вдоль ног и молчал.

Он, видимо, хотел сказать многое, и, когда подходил к дому, на устах его лежала серьезная речь. Эту речь он собрал с большим трудом, напрягая себя, но сил хватило только на то, чтобы подойти к доктору. Теперь он смотрел на него глубоко запавшими глазами, которые, казалось, не мог смежить. Он как будто говорил взглядом: «Не усну, не дам себе ни покою, ни отдыху, пока ты, друг, не поймешь меня. Будем бороться, преодолевать. — и победим же мы когда-нибудь, Александр Яковлевич! Не может быть, чтоб не победили!»

Доктору стало легче, хотя и тут он подумал, что говори он дня два тому назад подольше с Иваном Петровичем, кто знает, не вспомнилось ли какое-нибудь

забытое старинное или новое средство от болезни?.. Но не было такого лекарства. Есть еще горе среди нас, и много его! Мы много знаем, мы много сделали, а того больше еще в мире надо сделать, чтобы удалить совсем горе, несчастье, невежество, тупость, душевную и нравственную грязь. Много еще надо учиться, работать и стоять против невежества и тупости с оружием в руках, стоять долго, упорно, крепко, неутомимо...

«Но выстоим, — думал доктор, глядя в глаза крестьянина, который, как видно, думал такую же думу, — выстоим, подавим горе, и если не себе, так другим дадим полное счастье, чтоб не умирали Сергуньки! Ведь не понять этого невозможно. Вот мы трое — учитель, врач и крестьянин — стоим молча и молча понимаем друг друга. И разве это понимание не есть полная уверенность в том, что выстоим, что подлинное мужество победит и это горе — смерть ребенка, и другое, что придет к нам?..»

Он посмотрел в глаза жены. Она думала то же самое.

Так у стола, в квартире доктора, задумались о жизни три человека. Увы, доктор, не только счастье, но и горе — молчаливо.



ПОЕДИНОК

Подмосковная легенда

Странная эта картина висит в большом двухсветном зале дома Гореловых. Я видел ее, когда огненно-желтый и сердитый закат заполнял своим странно-струистым светом комнаты дома. Ликующий, торжественный свет этот создавал в сердце чувство обилия, плодovitости, даже излишности. Вот почему то, что рассказали мне об этой картине, не раздражило меня.

Дом Гореловых стоит на холме, высоком и глинистом, медленно спускающемся к пруду. Пруд вялый, коротенький, какого-то сивушного цвета и запаха. По одну сторону холма лежит деревня, по другую расположено ровное, без васильков и ромашек, поле, устало преющее под высоким и жарким солнцем. За домом виден парк. Он очень хорош.

Некогда в доме, у хозяйки его, — вдовы, красавицы и умницы, — пять-шесть недель гостил величайший русский поэт, и здесь он написал несколько своих стихотворений, шаловливых, коротеньких, острых, словно писанных осокой... Вот эти стихи-то его и превратили старый дом в музей, остановили, словно заморозили мебель, бросили на стены акварели и старинные портреты, развесили диаграммы, положили на столы, под толстые и непреложно-историчные стекла, письма бабушек и дедушек... поэт недаром был проказник!

В узкой комнате, перед парадным залом, висит портрет офицера в гусарском мундире. Вы видите человека с чистым и ярким лицом, жилистого, с крепкой шеей, с большими глазами, не жгучими и не колючими, а теми глазами цвета египетской яшмы — светлозеленой в красных брызгах, которые всегда указывают на

упорный и настойчивый характер. Да и всё — посадка головы, плечи, спелые губы, — всё говорило: этот не из зерноядных. Поглядев на портрет, вы непременно пожелаете узнать: кто это такой? Вам назовут имя Ивана Евграфовича Горелова, и вам покажется, что ответ этот требует разъяснений.

Вы пройдете в зал и невольно остановитесь перед странной картиной. Вы подумаете, что есть какая-то пленительная и грустная связь между картиной и портретом Ивана Евграфовича. Вы утадали.

Идемте в парк, сядем на дерновую скамью на берегу пруда. Вылезут вечерние облака, усталые, видимо, уже помыкавшиеся по свету. Пруд будет гореть и сиять, как будто впервые полюбил, а на хвостине пастуха, гонящего колхозное стадо, вы увидите такое сияние, словно он несет часть солнца, да и стадо будто намылено светом. И тогда провожающий вас, любуясь убранством пруда, вдруг скажет:

— Не вы первый удивляетесь странному сюжету картины, тем более, что художник, ее написавший, отличался всегда ясностью замысла. А тут что такое? Какой-то песок, камни, мелкий кустарник. На камне, должно быть, сидел воин, потому что возле брошены ножны меча, щит, плащ синий с серебряной каймой. На песке, по направлению к вам, отчетливо видны следы: задник сандалия глубоко ушел в песок, будто воин уперся, перед тем как выпрыгнуть... из картины.

Провожавший посмотрит на вас. Вы молчите. Вы неможете. — вечер такой, что для вас нет ничего удивительного в том, что воин ушел из картины... вы хотите только знать — почему? Провожавший поймет ваш стойкий интерес к рассказу. Он будет продолжать:

— И не вы первый находите нечто общее между картиной и портретом Ивана Евграфовича, хотя, казалось бы, что там общего: гусарский офицер и какой-то воин, существовавший полторы тысячи лет до этого гусарского офицера. Общее есть! Это общее... Но прежде — Иван Евграфович любил и был любим. Любила его Иринушка, впоследствии Ирина Матвеевна. К сожалению, портрета Ирины Матвеевны не сохранилось. Говорят, есть акварель в историческом музее. Бывал я в Москве, акварели не обнаружил. Была она красавица, —

вечно алчущий Иван Евграфович преклонялся перед нею.

Пра-пра-прадед мой Иван Евграфович, — скажут вам, — жил суетно, беспутно. Враки! Таким суетно-всесокрушающим изобразили его и на портрете. А изображал его человек, который его не любил, как и не любил его многие прохвосты и взяточники. Иван Евграфович был ужасный правдоискатель, и, отчаянно ища правды, он доходил до неистовств, лютых и необыкновенных, вроде того, о котором я буду рассказывать.

Как офицер, он понимал, что правда требует оружия: это не красавица, что сражается мушками, наклепанными по лицу. Вот почему был он дуэлянт, — но не «бретёр», — и если уж бился, так бился столь внушительно, что лицо противника «вылакировывалось», то есть покрывалось от испуга потом, через пять минут после начала поединка... И, как все увлекающиеся люди, он часто путал средства с целью. Карточную игру он считал тоже поединком.

Встретил подлеца, — графа Глобского, — думает: «Момент хороший, надо сразиться и отомстить графу на зеленом поле, потому что для него разорение горше смерти, наплевать ему, если я его убью!» Дело в том, что и Глобский и Иван Евграфович участвовали в одном сражении: при Нови. Суворов за умную храбрость похлопал Ивана Евграфовича по плечу, на Глобского и не взглянул, — тот был хоть и храбр, но глупой, бестолковой храбростью. А нужно сказать, что у Глобского имелись в Петербурге, при дворе, друзья, которым он писал. Припомнил Глобский, что говорил Иван Евграфович непочтительные слова о любимце императора Кутайсове... и, вместо награды, получил Иван Евграфович внезапную отставку и приказание отправиться в свое имение.

Вот при таком-то состоянии и встретился, повторяю, Иван Евграфович, по дороге домой, в одном губернском городе, с графом Глобским, встретился, и мелькнула в нем коварная мысль: «сражусь». Сразился. И — проиграл! Да и вдобавок так проиграл, что ни зерна не осталось. А проиграть не от беспутства, а от обиды гораздо тяжелее. Смертоносная злость овладела Иваном Евграфовичем. Притом же он не мог теперь исполнить повеление императора Павла: отправиться в свое поместье,

поскольку он это поместье проиграл. Как быть? К друзьям приехать — испугаешь, опальный... одна надежда на невесту, на любовь, на Иринушку.

Иринушка звалась его невестой давно. Но, видимо, из-за несовершенства почты Иван Евграфович более полугода не получал от невесты писем. Он объяснял это еще и малым количеством событий ее жизни, а во-вторых, искренностью ее чувств, что мешает, как известно, возможности их выразить. Подколотности ее родителя он и не подозревал, наоборот, родитель ее осуждал неметчину Павла и восхищался вдохновенностью Суворова, так и говоря: «Он у нас малиновый звон славы россов!» Что такому человеку опальность, в которую ввержен Иван Евграфович? Беспечно посмеиваясь, велел Иван Евграфович слуге своему Трошке укладывать чемоданы и поворачивать в сторону, где жили родители Иринушки.

А беспечно посмеивался-то он напрасно! Григорий Григорьевич сын Постников, отец Иринушки, к сожалению, проявил бесстыдную подколотность. Началась эта подколотность издалека. Был в нашем городе богатейший купец Кепинов, как оказалось позже, умалишенный, слабо-памятный. Так вот, запутавшись в делах и желая выкрутиться, Григорий Григорьевич попал в беду, — да еще помог той беде советчик, некий прохвост Султановский. Как бы то ни было, Григорий Григорьевич от имени купца Кепинова составил подложный акт, употребил его для своей выгоды, а Султановский и его приятели Тандырин и Калипаров ложно засвидетельствовали при свершении этого акта правоспособность купца Кепинова, который в это время лежал мертвецки пьяный и блеял по-бараньи. Неправоспособность Кепинова быстро открылась, равно и противозаконный акт, совершенный Григорием Григорьевичем на старости лет... Конец! Следствие. Приговор. Канун гибели. От горя и стыда оплешивел Григорий Григорьевич, ноги его стали дрожать, а в груди он чувствовал бесцельный гул.

Но вдруг в наружном виде его появилось большое изменение — и к лучшему. И в то же время образ Иринушки побледнел и осунулся. Знакомый офицер из армии Суворова сообщил Григорию Григорьевичу о «некоем бесконечно огромном несчастье с Иваном Евграфовичем Гореловым», по всем намекам — опале. Григорий Гри-

горьич, зная, что это только опала, домашним и дочери сказал, что — смерть, и подробно расписал причины дуэли, на которой погиб, де, Иван Евграфович, и даже похороны его! Гасил он жизнь Ивана Евграфовича потому, что хотел свою жизнь сделать неугасимой, незакастной, а для того, в частности, выдать красавицу Иринушку за богатейшего и, главное, влиятельнейшего барина нашей губернии Максима Петровича Устинского.

Иринушка, узнав о смерти Ивана Евграфовича, горевала сильно. Но горе при красоте, как весенний дождь, — все медведи и все травы из берлоги лезут, — и появился возле Иринушки в алмазной одежде, трепещущий от страсти, Максим Петрович Устинский, голова которого хоть и успела вылыситься, но сердце не теряло надежд.

Превосходно, казалось бы, всё идет? Дело о бесправности купца Кепинова внезапно повернулось в другую сторону. Вышло, что сам купец Кепинов ходил и лично являл акты и «никаких злоумышленных изменений, — как признало столичное начальство, — в них не допущено». И дальше то же крупное и спокойное начальство говорило, что «действия лиц, принимавших участие в составлении актов, не заключают в себе признаков подлога, предусмотренных статьями...» и что надо «приговор и все производство по делу купца Кепинова отменить». Его и отменили.

Судебный приговор легче отменить, чем любовь. И офицеришка, женишок этот, Иван Евграфович исчез, помер, так сказать, и родители довольны, и невеста безмолвствует при виде нового жениха, безлучно улыбаясь... А родители и новый жених просто не догадывались, что Иринушка — упряма и с размышлениями, она если замашет крылышками, так полетит.

Размышления ее начались с грации. Тогда, — знаете, — во всем должна была существовать грация: и если уж бились на рапирах, так будто балет танцевали. Естественно поэтому, что жениха своего бывшего, Ивана Евграфовича, она видела во сне скачущим, подобно козочке, по виноградникам Италии, и даже по Альпам, да, вдобавок, делающим вот этак своим эпантоном! Приснись ей и новый жених, — в те времена женихи снились обязательно, — и приснись в таком неграциозном виде: он, знаете, идет из бани зимой, шу-

ба внакидку, лицо багрово, и к уху банный лист прилип, а лакей, позади, несет венок. Тьфу!..

И вдруг замечают, что Иринушка зачастила в церковь. А церковь была обычная. Попишка Игнатий был тихий пьяница, службу исполнял без особых дальних звезд и грации и больше всё лежал у себя в огороде — зимой в баньке, а летом промежду грядок, «у трудей природы», как он говорил своим заунывно-семинарским голосом. Славилась церквушка началом иконостаса... именно началом. Светозарные руки его делали!

Максим Петрович Устинский при незакатном богатстве своем имел преклонение перед красотой во всех видах, в том числе ценил он живопись, которую считал преобразователем человеческой породы. Желая невесту свою приобщить к сему преобразованию, он пригласил в усадьбу к Постниковым знаменитого в те времена, да и поныне, художника. Художник славен был кистью, славен был и резцом, особенно по дереву. Максим Петрович и закажи ему сразу иконостас — резной, золоченый, ласкающий душу и взор, а одновременно с тем картину «Георгий Победоносец накануне поражения дракона».

Георгия Победоносца издавна чтили у Постниковых, как и вообще на Руси, ибо был он покровителем Москвы, существовал, — поражая дракона, — на государственном гербе, а при царе Федоре Ивановиче монету с изображением его для ношения на шапке или рукаве выдавали особо храбрым воинам, так что Григорий Григорыч, отец Иринушки, будучи отставным воином, естественно, должен был порадоваться случаю, что будущий зять придумал такую красивую картину, тем более, что умерший, якобы, Иван Евграфович неслышно маячил в сердце старого вояки, как тот самый дракон, который опустошал землю и пожирал девиц и пожелал пожрать девицу — дочь царя, чему воспрепятствовал Георгий, поразив дракона рокоцущим мечом своим.

Искусство требует внимания, как кристалл семигранника требует воды, — и не будь этой воды, кристалл не даст преломления света, не даст игры, если не рассыплется вообще. Так случилось и с художником. В этой глуши, в этой жалкой церквушке, для которой он резал иконостас, в этом провинциальном зале с задумчиво дрожащими полами он не видел вечных лампад внимания. Он затосковал! Он все меньше и меньше при-

нимал воды и все больше вина и все больше сваливал вину на грустный «сюжет». А что грустного в сюжете картины?

Знатный воин Георгий во времена Диоклетиановы приезжает и останавливается неподалеку от города, который опустошает дракон, так что царь и граждане принуждены отдавать ему на съедение детей своих. Назавтра надо отдать царскую дочь змию! Георгий обещал умертвить змия, а змий осьмиглавый, ловкий, сильный... И хотя воин был очень храбр, но, естественно, задумался. Сидит он на камне в пустыне, перед городом, и думает: «А если не выйдет? А если сила и вера мои слабы? Ведь раньше, когда я не был полным христианином, я дрался одним мечом и мог его в случае нужды перебросить в другую руку. Здесь же рука будет занята крестом!» и тому подобное, в этом роде, когда солдат размышляет перед сражением и ищет слабые места у себя и у противника... размышления естественные. Что же здесь грустного?

Мне думается, что художник, до известной степени, образ дракона видел в Максиме Петровиче, — отчего и грустил. Я не хочу сказать, что художник полюбил Иринушку и желал быть, до известной степени, Георгием Победоносцем, нет, — художнику было за пятьдесят, а в таком возрасте не всякий гонится за романами. Так или по-другому, но Иринушка прочла симпатню в глазах художника и часто стала приходить к нему во время работы. Художник в то время больше думал о картине, — подмастерья его резали иконостас, — и, в думках, он многое рассказал Иринушке о Георгии и в частности о том, как после поражения змия царевна на своем поясе привела его в город и как весь город перешел в христианство.

Выслушав, Иринушка сказала:

— Христианство — понятно. Но зачем ей такую пакость приводить в город? И... ах, как жалко, Николай Владимирович, что перевелись у нас Георгии! — И ей показалось, что Георгий, еще слабым контуром обозначившийся на полотне, несколько схож с Иваном Евграфовичем.

Видят домашние, что Иринушка перестала пламенно интересоваться миром, — другую ищет грацию. Домашние огорчились, торопятся со свадьбой, а тут Иринушка

вдруг да объяви, что уходит в монастырь, понеже «дракон мира сего гнетет ее»! Вот тебе и на! Родители рассердились, отец даже слегка погулял кулаком по ее лицу и бокам, но и это мало помогло. Иринushка уехала в монастырь и поступила на испытание. И вот в эти-то отчаянно-грустные минуты, когда экипаж с Иринushкой въезжал в монастырские ворота и монастырские собаки подняли тусклый лай, и когда страстно ожидаемая тишина и благолепие осенили ее, и когда казначейша, рябая баба со шнуровой книгой в руке, почесывая бок, высунула голову в окно и спросила у кучера: «Чьих будете?», — вот тогда-то и прискакал в усадьбу к Постниковым, к отцу ее, к милой невесте, опальный офицер Иван Евграфович Горелов.

Прискакал, можно сказать, невинный ни в дожде, ни в засухе, а оказался причастным ко многому. Входит он в зал, где незаконченный Георгий: в лице некая дымка и нос утлый; художник собирает кисти: с отъездом Иринushки совсем опротивели ему эти места, и, не дописав картины, он решил покинуть их, сказав неопределенно, что вернется... входит, кланяется, смотрит искоса вверх, на лестницу, и все ждет выхода Иринushки, хотя за два перегона, еще на постоялом дворе, сказали ему, что боярышня-то в монастырь ушла. Он, конечно, взбесился. Как так? Письма писал любовные, с бесчисленными помарушками и скоблешками, что доказывает, как известно, матёрую страсть, подтверждал любовь и давал сроки, а тут — на тебе. — перед самым приездом и в обитель. Кто виноват? Никто, oprичь родителей!

А родители стоят вверху и боятся спуститься по лестнице. Подойдут к ступеньке, а нога-то и не поднимается. Старуха прямо крестится: «Помяни царя Давида и всю кротость его», а старик расправляет грудь. Как сказать парню, что записали его в синодик и называли его усопшим и в Дмитриеву субботу, и в Фомин вторник, и в Великий четверток? Ведь он может и спросить: «Значит, писем не получали? Как же такое, ведь почтмейстер мне говорил, что аккуратно вам письма пересылал?» И помилосердствовать некому будет, окажутся они великими и подлыми скрывателями любви и честности! Плохо, плохо. А как дойти было до такого злоумудрствования, что живого человека, хоть и опального, но все же офицера его строгого императорского вели-

чества Павла, вписали в поминанье, в синодик? Ах, как нехорошо!

Но был же старик в войске. Понохал он трижды табачку, чихнул, велел кучеру Егору Крохалю, что не только двухпудовиком крестился, но и бросал его на пять сажень, стать возле парадного и ждать крика. Старик взял под руку старушку, и спустились они вниз. Но разговор неожиданно даже оказался кротким и почти милым! Иван Евграфович своей степенностью, знаниями, походами и знакомствами чрезвычайно понравился старикам, равно как и старики ему. Однако гордость не позволяла им сознаться в своем преступлении, да к тому же и медведь-жених с его тысячью душ не совсем еще отказался от невесты, а, так сказать, лежал подле жизненной межи, в овсах. Нельзя похвастаться, чтобы Иван Евграфович отличался пронизательностью. Сидит он, смотрит на стариков и думает, что старики уже не в приводе невода ходят, не ведут его, а сами сидят, подобно пойманым рыбкам, в самой мотне!

Тряхнул он головой и сказал:

— Верю, что убил я и похоронен, потому что чувствую себя ужасно! Но ведь должны мои страдания уменьшиться, раз ваши увеличились. Келья — не Максим Петрович, а все же — келья... — И, впадая в злость, Иван Евграфович спросил: — Кто же ее соблазнил в монастырь?

Родители говорят, что художника кисть роковая, — кстати сказать, художник уже сел в тарантас и уехал. Иван Евграфович видел рябое и мало игривое лицо художника, — не приревнуешь. Он желал видеть кисть его! Ему указали на картину. Картина как картина. Сидит воин, смотрит на тебя в упор, думает о чем-то своем...

— Нет, не в картине тут дело! Вот, поворят, иконостас в церкви расписной, резной, золоченый... может быть, иконостас?

— Всенепременно, всенепременно: иконостас причинной! — восклицают родители, которым бы только его сплавить, ибо, увидав его горящие очи, опять перепугались они и решили сбежать к неудавшемуся зятю Максиму Петровичу посоветоваться: как относиться к опальному офицеру? Есть он лицо неприкосновенное и государственное или же разрешается его бить двухпудовым кулаком по шее и гнать вон?

И направился Иван Евграфович к попику Игнатию, чтобы с ним вместе пойти в церковь подивоваться на иконостас.

Идет он через парк, прямо по крапиве, и хоть он не дальновидец, все же понимает, что со стариками тут дело неладно, но из благородства и уважения к будущим родственникам своим старается подыскать им оправдание, снять с них некоторую тяжесть обвинения! И все-то он краешком где-то надеется, что зарученная девица будет при нем, и в мысль ему не придет, что родители тем временем, пока он шагает по парку, пишут письмо к... игуменье, чтобы Иринушку ни в коем случае не выпускали, вплоть до самого скорейшего пострига... А был уже вечер, вроде теперешнего... очень теплый и хороший!..

Да, вечер был действительно замечательный. Он словно обижался на то, что вы так невнимательно смотрели на него доселе. Облака мощно расправили крылья, будто им было невмочь хранить в себе такую красоту — лиловую, розовую, палевую. Пруд лежал бледный и бессильный, как брошенный летчиком парашют. Берега его были как бы просмоленные. Пахло от них тягуче, тоскливо. Отпускали они эти запахи медленно, с неохотой. И вам подумалось, что, наверное, Ивану Евграфовичу было сильно тяжело и грустно невыносимо, когда он в последнем отчаянии поисков шел в церковь, зная, что тщетно это желание найти истинные причины ухода своей невесты.

Приходит он к попику Игнатию. Попишка, как всегда, спит возле своей баньки в лопухах, мухи спят возле его рта, попадая цедит молоко... Вот тут и разговорись! Однако Иван Евграфович несколькими бешеными словами пробудил попика. Тот, подавая ему ключи от церкви, сказал, зевая и вежливо закрывая свой рот листом лопуха:

— А ты, сыне, не на иконостас смотри, ты, сыне, воззрись на ту картину, на тот его лик, который побоялись поставить в церковь, а водрузили в зале.

Сказал и заснул.

Иван Евграфович, — по неумолчной грызне мыслей, — не обратил внимания на слова попа и поспешил в церковь.

В церкви было уже темновато. Трошка нес фонарь. Дошли почти до амвона. Должно быть, причт недавно служил — из церкви еще не вышел запах ладана, хотя сквозь открытые окна, через решетки, сильно несло сеном, стога которого возвышались возле парка. Иван Евграфович велел Трошке осветить иконостас. Дверь была открыта, но ничего, кроме легкого шороха на могилках кладбища, не было слышно. А кладбище большое, хотя деревушка и не славилась величиной, но так уж повелось, что умирали и рождались усердно, сколько ни казнили их бояре, голод да мор...

Стоит Иван Евграфович и размышляет, и мысли цепкие и свирепые. Трошка открыл фонарь, переменял свечу, утих и последний шорох, значит, и послезакатный ветерок прекратился. Равномерный свет лился из фонаря на иконостас, еще не позолоченный, а нежно-синеватый, будто весенние тучки.

Трепетно-жгучая рука вела резец. Упоительно-нежны линии; пламенны, как долгожданная ласка, растительные орнаменты: виноградные листья, лилии и нарциссы; бурны провалы, где будут стоять образа... коварно сердце художника, далеко способно оно увести! И пожалел Иван Евграфович, что плохо присмотрелся к картине. И тотчас же вспомнил он слова попишки Игнатия. Захотелось ему обратно в зал, да ночь, да, небось, старики уже легли спать... Э, что тут старики?!

Иван Евграфович повернулся. Трошка за ним. Они вышли на паперть. Тишина безмолвным роем колких и прозрачных мыслей окружила его. Сквозь деревянную ограду видны были кресты кладбища, а за ними возвышались стога, как гигантские могильные холмы. Но не смерть жила у этих холмов, а жизнь! Возле одного стога кто-то довольно и громко и сладко посмеивался, наверное, девка над парнем, и сено шипело, задеваемое то ли плечом, то ли жердью, которой укрепляют сено от ветра. Жизнь нужна Ивану Евграфовичу, жизнь, которую можно взять только борьбой, хотя бы с самим Георгием Победоносцем!..

Трошка попрежнему с фонарем, где теперь пронзительно и ярко горела свеча, стоял возле Ивана Евграфовича. Полукафтаны со сборками по бокам, даже и оно, казалось, изображало в нем внимание: он-то знал, насколько его барин отчаянный.

— Трошка, — воскликнул Иван Евграфович, — сегодня будем биться!

— А чего ж не биться, — ответил Трошка, — биться — оно хорошо: спать не хочется потом.

— Свети к дому!

Подходят к дому.

— Барин спит?

— Где там спит, — отвечает дворня, — уже час как уехали.

— Куда уехали?

— А разве нам, холопам, докладывают, куда они уехали; запрягли тройку самых рьяных и уехали.

— Так?

— Так, Иван Евграфович, — ответила дворня почтительно, уважая величавость его.

— Свети в залу! — закричал Иван Евграфович и ринулся в зал.

Подошел он к полотну. При узорном и шатком свете фонаря лицо воина показалось ему довершенным, — и даже сверх того. Какой великий талант у этого рябого и скучного на вид человека! Днем лицо бесстрастно и грубо, а вечером, когда как раз соблазняют девушек, оно благоуханно и сочно. И никакой кротости!

Со всей учтивостью, на которую он был способен, Иван Евграфович приблизился вплотную к картине и проговорил:

— Ваше сиятельство! — Он не мог обратиться с более высоким титулом, потому что артикул не позволял ему вызывать августейшую особу, но с сиятельствами он дрался не раз. — Ваше сиятельство, Георгий! Вы взяли у меня непорочное существо.. Вы нексторм образом обольстили его, зная, что вы безнаказанны. Но, поставив вас здесь, а не в церкви, художник придал вам светскость. Поэтому я поступок ваш считаю непозволительным!

Призрак на полотне смотрел на Ивана Евграфовича вдохновенными и вещими глазами и молчал. Иван Евграфович не отличался сложностью и витиеватостью речи, но он верил в ее волчью выразительность.

— Ваше сиятельство, — продолжал он, — вы погибли при Диоклетиановом гонении, промучившись восемь дней. Зачем же вы заставляете мучиться других? Что в этом вы находите прекрасного? Чем виновата дочь дома сего?

Несмотря на некоторые славянизмы, которыми Иван Евграфович думал тронуть призрак, полотно попрежнему молчало. И тогда Иван Евграфович заговорил еще более резко:

— Вы, ваше сиятельство, признаны покровителем Москвы. Вы топтали татар, ляхов, литву, вы помогали нашему Отечеству. Ради Отечества я, ваше сиятельство, уже участвовал в трех сражениях и трижды ранен, последний раз при Нови. Ваше сиятельство! Сквозь огонь ран я вижу нового врага, который, — не дай бог... — может приблизиться к защищаемой вами Москве. Я говорю о Наполеоне, ваше сиятельство, с которым я сражался! И меня, защитника Москвы, вы, ваше сиятельство, изволили кровно обидеть: увели в монастырь девушку-невесту. Если вы действительно Егорий Храбрый, то так храбрые люди не поступают! Я недоволен вами, ваше сиятельство, прошу меня простить. Я — грешен, я, может быть, за эти слова буду в аду, но я недоволен вами, ваше сиятельство!

Призрак безмолвствовал. Ивана Евграфовича это начало уже сильно раздражать. Он наклонил лобастую упрямую голову — и зарычал. Дело в том, что он хотя и служил в кавалерии, но если приходилось говорить, то речь его пестрила теми терминами, которыми так славятся моряки, понося непокорное море и малопокорные обстоятельства. Пошатываясь от возбуждения, он кричал:

— Да, сударь. Я не позволю тебе так тускло смотреть на меня. Я тебя так оскорблю, что вся твоя кротость слетит, как полива с горшка!

Он достал перчатки и поспешно натянул их на руки, с тем чтобы снять перчатку и ударить противника по лицу, потому что кулаком бить по картине не по-рыцарски.

— К барьеру, сударь, к барьеру! — сказал он, взмахивая перчаткой.

И вдруг Георгий весь покрылся краской, привстал с камня и сказал:

— Впервые такого дурака встречаю. Почему так бранитесь, сударь? От десятка ваших слов я был бы уже у барьера. Где ваши секунданты? И где шпаги?

— Трошка, беги за шпагами! — сказал обрадованный Иван Евграфович. — И зови того лысого чиновника с

шишкой под ухом, с которым мы в трактире познакомились. Да и того дворянина, у которого на левой руке мизинца нехватает. Он, по всему видно, человек музыкальный! Скажи, долго морить не буду, помутится вода с песком, поляжет противник вверх дном.

— Увидим, сударь, увидим! Зачем хвастать? — сказал Георгий, с удовольствием расправляя ноги и руки и разглядывая фонарь, который Трошка оставил, убегая за секундантами. — Вообще, замечу вам, что вы многословны и любите преувеличивать. Скажите на милость, — я не в оправдание свое говорю, — зачем мне нужна ваша невеста? Монахиня из нее будет плохая, — всё о женихе да о женихе, да и к тому же характера она сварливого.

— Кто? Иринушка — сварлива? — в крайнем негодовании воскликнул Иван Евграфович. — Сударь, за это вы мне ответите еще фунтом мяса!..

— Увидим, сударь, увидим.

Георгий Победоносец был невысокого роста, в синем нарядном плаще, стянутом тонким металлическим ремнем. Говорил он несколько простуженным голосом, и, видимо, его терзала чуть ли не невралгическая боль, а может быть, и на камне ему надоело сидеть. Он ходил мелкими шажками по ковру посредственной работы, пересекавшему зал. Ему, видимо, очень хотелось поговорить, но так как перед дуэлью противники должны молчать и даже не глядеть друг на друга, то он ходил молча по одной стороне ковра, а Иван Евграфович, тоже молча, по другой.

Трошка вернулся быстро. Он настолько привык к поединкам, что для него сходжение Георгия с картины несколько не казалось удивительным, и он даже не ссылаясь на это странное происшествие, когда будил мертвецки пьяного чиновника и дворянина с отрубленным мизинцем. Трошка сообщил, что он кричал ревом, но дворяне спят, и вообще все село спит, и секундантов достать неоткуда! Тогда Иван Евграфович, волей-неволей, обратился к своему противнику:

— Может быть, вы, ваше сиятельство, сочтете возможным пригласить одного из своих учеников? Я же обойдусь без секунданта.

— Вы, сударь, плохо разбираетесь в обстоятельствах, благодаря которым я имею честь не только беседовать,

но и драться с вами, — сказал Победоносец. — Разрешите несколько подробнее остановиться на них. Почему я здесь? Почему я откликнулся на ваши слова? Почему сошел с полотна? Это происходит редко и только тогда, когда великий художник ошибочно отказывается от образа, им почти созданного. Тогда жизнь, — воплощением которой в данный момент явились вы, — призывает и воплощает нас, художественный образ! Непонимание художника, отказывающегося от своего замысла, и внимание жизни, верящей в осуществление этого замысла, — таков закон, благодаря коему мы, дети полужизни, являемся в мир, дабы помочь людям. Согласно с Аристотелем, философ Теофраст, — не знаю, как вы, а я его, между прочим, ставлю очень высоко, — кроме нравственных добродетелей, признает еще и умственные. Тем естественнее имеющееся в его «Этике» место, что он созерцательную, теоретическую деятельность ставит на более высокую ступень, чем практическую. Или возьмем Фому Аквината. Он видит следующие потенции души: «растительные» (*vegetativae*)...

Иван Евграфович не силен был в теоретических науках, но сердцем он чувствовал: здесь что-то неладно. Надо сражаться! Умствования призрака действовали на Ивана Евграфовича расслабляюще, да к тому же он явно увиливал: не желал сказать — каким путем, в случае поражения, он намерен возратить Ивану Евграфовичу невесту.

— Тогда придется делать дуэль без свидетелей, ваше сиятельство, — сказал Иван Евграфович. — Но даю слово, что никогда ни одного дуэльного правила не преступал. И не собираюсь делать то и сейчас.

— Без свидетелей я даже предпочитаю, — сказал Георгий, сбрасывая плащ, — шелк дымчат и голуб, — и плащ этот пал на камень картины, где и застыл мазком живописца!

Трошка зажег огарки, достал бинты и корпию, — он умел слегка лечить, а коней лечил уже совершенно, — и, прислонившись к стене, стал ждать результата. За своего хозяина он не беспокоился, хотя противник, сбросивший плащ и оставшийся в коротенькой серой рубашке, казался очень ловким и сильным. «Ишь, вылизанный какой монах-то, — думал Трошка, ковыряя пальцем

в ухе, — с таким придется барину помяться. Ну да мы тебе кишки вынесем!»

Противники разошлись на позиции и встали в те грациозные позы, которые требовались временем. Затем Трошка дал знак, и юни понеслись друг на друга. Георгий атаковал Ивана Евграфовича со свирепостью и силой, совсем неожиданной, так что одно время казалось, что шпага его уже изловила сердце Ивана Евграфовича. Но Иван Евграфович был силен не только в нападении, но и в обороне, исконном искусстве москвитов. Обороняясь с толком, не торопясь, он быстро разглядел фехтовальную слабость противника. Георгий, видимо, давно не упражнялся и поэтому стремился взять решительностью и набегом. Он долго сидел на камне, мышцы у него слегка залились жирком, и как только Иван Евграфович стал ловчиться, вызывая в нем побольше движений да притом в разные стороны, то Георгий уже и задыхаться начал, уже и лицо его покрылось потом. Тогда-то Иван Евграфович бросил оборону и перешел в нападение! Через полчаса или несколько более Георгий явно ослабел и оглянулся, ища взором картину.

«Ага! — подумал с некоторым злорадством Иван Евграфович. — Девок отнимать — так вы умеете, а сражаться — так и на картину посматриваете? Удрать? Нет, в картину вам удрать не представится случай!» И Иван Евграфович стал спиной к картине, с тем чтобы отрезать противнику все пути к бегству. Георгий понял его маневр и, даже крикнув от ярости, напал на него. Иван Евграфович доблестно выдержал атаку, все время подставляя глаза Георгия под свет свечей, которые и светили-то теперь как-то особенно чисто. Он то отскакивал в сторону, как бы пропуская Георгия к картине, то делал такие движения, в результате которых противник кричал:

— Есть укол!

А Иван Евграфович отвечал обычной шуткой дуэлянтов:

— Есть укол, да у твоей бабушки!

После одного такого восклицания Георгия, в результате которого Иван Евграфович назвал его «криксой», то есть плаксой, как называют ребенка, который много кричит, Георгий, чувствуя, повидимому, особенную ярость, подпрыгнув, ринулся на Ивана Евграфовича. И

тогда с необычайнейшим наслаждением Иван Евграфович направил шпагу навстречу, как раз против сердца противника, и напряжил руку! Щелкнул шелк. Георгий охнул. Но шпага пронзила пустое пространство! Тем не менее вполне уверенный в своей победе, Иван Евграфович воскликнул:

— Никому, даже самому богу, я не позволю увозить мою невесту!

И тут он услышал необыкновенно широкий и пышный голос, который, несомненно, принадлежал Георгию, но как он отличался от прежнего его голоса: рыхлого и пухлого, как пирог! Пламенный, как лобзания, и гордый, как лоб мудреца, голос этот потряс сердце Ивана Евграфовича, бурей и громом гремел он!

— Иван Евграфов, смертный! Дерзка и безумна твоя дерзость. Но чудная добродетель сделала ее непобедимой. Иван Евграфов, ты прав. Звуки боя, боя за Москву, призывают меня! Слышишь?

Послушал Иван Евграфович: ничего теперь не слышит, да и то, что слышал прежде, кажется ему невероятным. Наклонил он голову, перекрестился: «Свят, свят...» На кого осмелился поднять шпагу? — На Георгия Победоносца! Кого осмелился учить и кто признался, что учение правильное?! «Свят, свят!...» Посмотрел Иван Евграфович и видит, что в зале никого нет, что Трошка поправляет свечу в фонаре и, что самое главное, нет война на полотне, будто и не было никогда...

Иван Евграфович вытер шпагу. Страстное смущение чувствовал он. Что за слово сказал, уходя, Победоносец? Ведь не о невесте были слова, а о Москве? Выходит, что Георгий Победоносец загулялся где-то в стороне, загляделся, а грешный Иван Евграфович направил его на путь верный. Так ли? Имеет ли на это право Иван Евграфович? Или три раны, полученные им, дали ему право? Или триста тридцать три тысячи слез, пролитых после того, как дикой волей императора выброшен он из полка и отправлен в опалу?.. Скромнен был Иван Евграфович и от скромности совсем смутился.

Тем не менее, вполне уверенный в своей правоте и в благополучии всего дальнейшего, Иван Евграфович с полным наслаждением вернулся в трактир, нашел на сеновале лысого чиновника и дворянина, того, который имел отрубленный мизинец, растолкал их и сказал: «Дивный

был поединок», на что помещик с отрубленным мизинцем издал вздох, несколько похожий на вздох мохового болота, где, скопившись, столетние газы выйдут через окно и вздохнут так, что вековые деревья всколыхнутся подобно былинкам! Чиновник же с шишкой под ухом взвизгнул, как железная кровать, когда на нее ложится малое дитя. И затем оба они заснули, не спрашивая объяснений, приятнейшим, хотя и вспугнутым сном. Заснул и Иван Евграфович. Во сне он видел цветущие вишни и больших, с воробья, монастырских мух.

Утром, совершенно уверенный в успехе, Иван Евграфович уехал в город, с тем чтобы на последние деньги купить подарки невесте. И точно: он не ошибся в своем предвидении. Дней через пять пришло письмо от родителей Ирины Матвеевны. Они сообщили, что Иринушка возвратилась из монастыря и что нельзя ли поспешить с браком, чтобы прекратить разные там разговоры? Иван Евграфович не обижался и поскакал к будущим своим родственникам. Свадьба состоялась. Пел губернский хор, свадьбу правил сам архиерей, посаженным отцом был Максим Петрович Устинский... Почему такие перемены? А перемены с того, что волею судьбы и шпагой гвардейцев убит был свирепый император Павел, и все колесо Фортуны, как всегда беспечно смеющейся, повернулось обратно.

Гремел хор. Дворяне готовили поздравления, а Иван Евграфович глядел на лицо невесты и вспоминал слова Георгия: сварлива, сварлива! Да и точно, сварливой оказалась Иринушка, так что вскоре же после свадьбы сел Иван Евграфович в коляску и ускакал в Петербург, а оттуда в свой полк. Одного ему хотелось вместе со всеми — злодея побить. «И то будет!» — говорил он всем уверенно, впрочем, не сильно доказывая свою уверенность, да и кто ждал от Ивана Евграфовича теоретических доказательств? Храбрый вояка, честнейший человек, — сын Отечества, и хорошо.

Разумеется, когда открывалась бутылка, Ивану Евграфовичу хотелось поделиться теми удивительными событиями, которые случились в его жизни. А как расскажешь? Дети, и те не поверят, что вызвал он на дуэль картину, сражался с фигурой из той картины, и та фигура была побеждена и ушла с предсказаниями. Молчал Иван Евграфович. От того молчания при выпивках при-

знали его неудачным собутыльником, и был приглашаем он редко. И когда звенели стаканы и слышались песни, а Иван Евграфович оставался один, он скучал, требовал к себе Трошку и приказывал ему вспоминать, как они бились в зале, в имении, ныне называемом Гореловка, и с кем бились. Трошка, по лености ума, путал многие поединки, и потому рассказ его не блистал звездами. Иван Евграфович плевался и говорил:

— Пустой ты, Трошка! Такое нам отверзлось, а ты не чувствуешь на себе влияния.

Трошка молчал. Иван Евграфович приказывал стелить постель, закуривал трубку перед сном, а затем засыпал, и сны ему виделись ослепительные и нежные.

В 1812 году, среди множества храброго российского народа, Иван Евграфович пал в бою за Смоленск.

Кончилась война. Изгнали врага.

Опираясь на плечо старого слуги Трошки, грустная вдова воина, имея по одну сторону сына, по другую дочь — вылитую Иван Евграфович, — подошла к святому и скромному гробу его, что лежит на одном из смоленских кладбищ. Благочестиво зря сей залог любви к Отечеству, предалась она воспоминаниям.

И тут-то услышала она повесть о поединке из уст Трошки. Тихо прослушала ее и затем сказала:

— Поборай по Господе, и Господь поборет по тебе. Горд был покойник, да простится ему грех этот, и напрасно ты, Трошка, вспомнил сей сон! Забудь его, и вы, дети, забудьте, как забыла его я.

Но дети не забыли, и тонко-трепещущая их память понесла по годам легенду о том, как офицер в опале Иван Евграфов сын Горелов сражался с Георгием Победоносцем и победил Георгия, зане был прав, правдолюбив и чтит славу Отечества. Всё.



К СВОИМ...

Дело это происходило в летние месяцы тысяча девять-
дсот сорок первого года, когда советские войска, —
вследствие внезапного нападения, а значит, и численного
превосходства немцев, к тому же, тогда лучше воору-
женных и более опытных в войне, — отступали и терпели
неудачи. Соединению, которым командовал генерал Ели-
сеев, грозило окружение. Генерал приказал отойти на
новый рубеж.

Получив приказ, майор Петелин, командир батальона,
собрал подчиненных ему командиров и политработников.
Объяснив причины отступления, майор велел осуще-
ствлять отход небольшими группами бойцов, в пять —
шесть человек: этого требовали условия открытой мест-
ности. Майор заключил:

— Победа есть результат стойкости. Будучи стойкими
русскими солдатами, мы всегда били немцев, побьем их
и теперь, рано или поздно, это точно. — Затем майор
добавил: — Переход к своим, в район Воробьевска, осу-
ществлять, по возможности, ночью, в дороге наводить
панику на врага, собирать сведения и вообще относиться
к жизни остро.

...К вечеру остатки соединения, потопив орудия и раз-
бив автомашины, покинули место боя.

Среди последних групп бойцов уходили те пятеро,
которых вел политрук Мирских.

Ополченец Мирон Подпасков никак не мог уложить
в мешок свое имущество. Уму непостижимо, откуда
только оно у него появлялось! У него даже оказался
полный комплект зимнего обмундирования, хотя никто
еще и не думал выдавать полушубки или шапки. Вещи

не влезли в один мешок, и Подпасков, найдя второй рюкзак, навьючил им своего приятеля Семена Отдуж, хилого, длинного, с голубыми терпеливыми и мечтательными глазами.

— Не тяжело будет нести? — спросил Мирских.

— Зачем тяжело? Ведь это мое, — ответил Подпасков.

Лицо его, широкое, угловатое, покрытое грязным потом, переваливающаяся быстрая и хитрая походка, моргающие глазки, подергивание плечами, словно над ним постоянно моросит дождь и холодная вода льется за воротник, ненужное множество морщин на лице и одежде, — все это и при других, менее сложных, обстоятельствах могло вызвать раздражение.

И раздражение бушевало в сердце третьего бойца их группы, Гната Нередка. Это был плотный, широкий и крепкий, как вагон-платформа, парень лет двадцати пяти с плавными движениями, глядя на которые всякий скажет: «Какой ловкий солдат!» Он действительно был ловок, смыслен, любил исполнять приказания, и ему нравилась война — грохот сражений, переходы, — и как раз по нему были размеры винтовки, а с автоматом он был еще пригляднее. К тому времени, когда майор произнес последние слова приказа, Гнат Нередка был уже готов к переходу. И вот, с ранцем за плечами, с автоматом в руках, с фляжкой воды и аварийным запасом продовольствия, он стоял рядом с политруком и чрезвычайно неодобрительно смотрел, как Подпасков суетится со своими вещами. Но раз политрук ничего не говорил Подпаскову, то ничего не говорил ему и Нередка. А он многое мог бы сказать. Он доставал большой чистый голубой платок, сморкался в него, свертывая его вшестьеро, и, спросив разрешения у политрука, закуривал трубочку.

Политрук Мирских, поверх головы Подпаскова и Нередка, смотрел на место сражения, на сгоревшие танки, на разбитые снарядами орудия, взорванные блиндажи, грузовики, упавшие в канавы, и на множество немецких и русских трупов, прикрывших собою хлебные поля. Немцы прекратили огонь. Должно быть, они догадывались о маневре русских и теперь перебрасывали войска на фланги, чтобы отрезать дивизии пути отступления. Солнце, ясное и осеннее, приближалось к закату. Немало людей на этом поле видело его последний раз, и,

пожалуй, последний раз видел такое поле и Мирских. Он не часто думал о смерти, но теперь-то, пожалуй, она была близка более, чем когда-либо. Дожди, холодные осенние ночи, длинные переходы, кажется, возобновили его болезнь. Ночью, а в особенности под утро его сильно знобило, а днем мучили испарина и головная боль. Врачу он не желал показаться, и потому, что не любил лечиться, и потому, что считал, что есть множество людей, более, чем он, нуждающихся во врачебной помощи. Товарищам, которые, глядя на его неестественно алые щеки, посылали его к доктору, он говорил шутливо: «Койки для меня такой длинной не найдется». Он действительно был очень высок.

Поле битвы казалось ему необычайно красивым и могущественным. Сколько поэтов будущего побывает на нем! Сколько песен будет создано о том, как одна русская дивизия держала это поле, в продолжение трех дней сопротивляясь пяти немецким! И разве не вспомнят о том, как после сражения, перед тем как покинуть его, бесхитростный русский портной Лубченков, по прозвищу Сосулька, маленький, сутуленький, похожий на ковщик, сидел на пенечке и наигрывал что-то на губной гармошке? Ротный баян разбило у него снарядом вместе с передвижной библиотекой, и он услаждал себя, подыскивая мотив на этой весьма не обильной звуками деревянной, обитой белой жестью, игрушке.

— Что вы играете, Лубченков? — спросил политрук.

Лубченков не отвечал, словно спрашивали не его.

— Что вы играете, Сосулька? — спросил его политрук.

— «По Волге-матушке зимой», — ответил гонким голосом Сосулька. — А что, не похоже? — И он засмеялся. — Если, скажем, душа вроде пальто, так от этих минометов, товарищ политрук, не только верх отпадет, но и подкладка. Так, что ли, сопелочка? — спросил он, дуя в гармошку.

И тотчас же он ответил сам себе песней. Песня получилась. Волга, широкая, зимняя, стлалась перед ними. Звенел колокольчик. Ямщик натянул вожжи. Возлюбленная ждала его у окна...

Даже Подпасков почувствовал, что вещи его собраны, и стоял, опираясь на лопату и думая о доме, о детях, о матери, ради которых он чегыре года уже работал в городе каменщиком, чтобы получить городскую сно-

ровку, учење и вернуться в село, и быть, по крайней мере, председателем колхоза. Когда Сосулька окончил песню, Подпасков сказал, указывая на поле:

— Сколько его, хлеба-то, потоптано, а, смотри, не покорено: колос-то выбивается.

Политрук уже привык к иносказательному языку, которым говорили и Подпасков, и Отдуж, и Сосулька. Сейчас он их понял так, что можно двигаться вперед, все готовы. Он отдал приказание. Они пошли.

Перед войной Мирских служил директором музея. Он ценил и уважал свое дело, а главное — обладал природным тонким вкусом. В подвалах районного музея краеведения, среди хлама, он обнаружил картину, которой, по его мнению, коснулась чья-то бессмертная рука. Ученые столицы признали ее работой Даниэля де-Вольтерры. Дальнейшие изыскания подтвердили, что картина была написана по рисунку Микель Анджело кем-либо из его последователей или учеников.

И сейчас, выйдя через овраг на луг, за которым стоял осенний лес, глядя на клены и дубы, Мирских вспомнил копию картины, что висит у него в третьем зале музея. Несомненно, что чья-то великая кисть коснулась ее, так же как великая кисть осени преобразила лес, что вчера еще был зеленым и однообразным. Словно Даная, совершенного телесного цвета, лежит этот лес на темной постели земли. Над изголовьем его висит пурпуровый полог. Выше, над самой красавицей, нежное белое облако, из которого, кажется, сыплются золотые монеты. Да, осень, поздняя, злая... Старуха-служанка, — ее напоминают кустарники, — сгорбленная ветром, сидит у ног Данаи и ловит монеты в свой передник.

Гнат Нередка по-своему понял внимательный взгляд политрука, устремленный на лес. Он сказал, подражая тому военному языку, которым обычно говорил майор:

— Вопрос придется поставить так, товарищ политрук, что большинство бойцов, попавших в лес, будет окапываться в глубине такового.

— Думаете, немцы его станут прочесывать?

— Обязательно, товарищ политрук! У них таковая тактика. Потому и предлагаю засесть в кустарниках, на опушке, поскольку ночь еще не настала и пути нам нет.

— Поближе к болоту?

— Так точно. Немец будет искать нас в сухом месте, товарищ политрук. В болоте он боится простуды.

Они срезали две кочки, свалили их вбок и стали под ними копать ямы. Торфяная почва, черная, с желтыми прожилками, была легка и удобна в копке, но только на глубине приблизительно метра показалась вода, — вышло, что в ямке придется сидеть скорчившись. Землю сбрасывали в болото. Нередка и Подпасков, как и следовало ожидать, оказались искусными землекопами. Но и Сосулька, этот наспех, без разбора и изящества, сооруженный человек, обращался с лопатой так, что казалось, она для него не тяжелее иглы. Он с почтением проводил Мирских к яме, накрыл кочкой и, смеясь, спросил:

— В плечах не жмет?

Нередка и Мирских, как наиболее рослые, сели в одну ямку, а трое остальных, помельче ростом, в другую. Перед тем как садиться, они съели коробку консервов «зеленый горошек», по ломтю хлеба толщиной с ладонь, — дневную порцию, — запили все это зеленой, с нефтяными пятнами, болотной водой и решили заснуть часа на два. Сосулька, который никогда не верил, что противник будет стрелять, но и никогда не удивлявшийся стрельбе, сказал:

— Какая там проческа, гребенок нету.

И тотчас же после его слов над деревьями пронесся грохот, посыпались сучья, задрожала земля, словно покоробившись, и все они почувствовали в груди короткое и удушливое стеснение, совсем не похожее на то, которое они чувствовали на поле боя. Там множество людей уже одним тем, что они были вместе, отгоняли это позорное и подлое чувство покорности. Здесь же они были одни, и им казалось, что это на них валятся стволы, падает земля, неустанно летят раскаленные и острые куски железа, что это их разрывает воздушная волна.

Мирских всем своим телом ощущал, как он дрожит, — и он не мог сдержать этой дрожи. Но тело, которое сидело скорчившись рядом с ним, — тело ловкого солдата Нередка, — дрожало еще сильнее. Когда на мгновение огонь прекратился, Мирских, с трудом соединяя губы, проговорил:

— В чем дело, Нередка?

Обычный этот вопрос был как раз тем самым, в котором нуждался Гнат Нередка. Если б Мирских попробовал, как всегда, объяснить то, что происходит, Нередка попрежнему дрожал бы и, может быть, дошел до того состояния ужаса, в котором портится самый лучший солдат. А сейчас, стряхнув с себя куски земли, он пришел в себя и ответил обычным, лихим, слегка сипловатым голосом:

— Минометами прекратили проческу, сейчас автоматами начнут, товарищ политрук. Прикажете наблюдать?

— Наблюдайте!

Тут они оба вспомнили, что в кочке сделана щелка. В нее видна часть проселочной дороги, холм, на который от болота поднимаются деревья, и подалее — полянка. По всем расчетам, немцы должны были выйти со стороны полянки. Повернув вправо голову и чуть привстав, так что голова его упиралась в корни трав, вылезавшие из кочки, Мирских мог увидеть через плечо Нередка часть полянки и кривой дуб на ней. Он поправил автомат, упирающийся в коленку, и положил под себя диск.

— Разрешите автомат, товарищ политрук!

— Зачем?

— Приказано навести панику.

— Панику будем наводить в темноте, а сейчас еще светло.

— Темнеет, товарищ политрук!

Мирских не ответил. В лесу послышался треск автоматов, и Нередка сказал:

— Все так же идут.

— Как так же?

— А так, что в три ряда прочесывают. Первым рядом он косит верхушки, вторым берет в свой рост, продольно, а третьим рядом нас топчет.

— Что? Не понимаю.

— Третий землю обстреливает, лунки такие, вроде как наши. Вот мне бы автомат, я б им показал кротовью мою жизнь.

— Сидите спокойно, Нередка.

— Слушаю, товарищ политрук.

Он припал к щели и, не оборачиваясь, шепотом, хотя за треском выстрелов его все равно не было б слышно, кричи он хоть во весь голос, рассказывал о том, что он

видел в лесу. Мирских плотно прильнул к его плечу. Сумерки еще не сгустились, а им из темной ямы видны были отчетливо не только стволы деревьев, но и мелькавшие среди них люди. Вначале пробежало несколько красноармейцев, спрятавшихся в лесу. Человек десять — пятнадцать скрылись в поле и столько же осталось лежать на дороге.

— Раненые, — прошептал Нередка. — Ой, боюсь, добывать будут их, товарищ политрук.

Мирских и сам опасался этого, но мысль, высказанная Гнатом, как-то совсем спутала и отяжелила его. Ему то казалось, что раненые стонут, то чудилось, что они встали и скрылись в поле, то ему казалось, что убежавшие красноармейцы вернулись и унесли их. Но в то же время он видел, что на поляну вышли немцы, видел сверкающие огоньки, выскакивающие из стволов, и даже разобрал слова команды: он знал немецкий язык. «Пройдут влево», — подумал он. И, словно отвечая на его мысль, Гнат сказал:

— Где влево, прямо на них идут.

Точно, немцы шли к раненым. Автоматы замолчали, и сразу же Мирских услышал отчаянный, хриплый и длинный крик:

— Товарищи, родные!

Немцев было девять. Один из них, опустив с живота автомат, достал револьвер. Раненый, привстав на локтях, повторил свой призыв. Немец выстрелил в него. Раненый упал недвижно. Немец обернулся и сказал что-то другому, шедшему во второй шеренге, но Мирских не понял, что сказал немец. Пристреливший раненого почесал револьвером шею и пошел к следующему раненому.

— Искалеченных бьют... — пробормотал Нередка.

— Искалеченных,—повторил Мирских и громко крикнул: — А вы что же не видите, — уже темнота?!

И он, словно с раскату, выскочил из ямки, встал во весь рост и закричал иступленно:

— Миллионы за это уничтожу! Миллионы-ы таких!

И когда он, весь дрожа от ненависти, стрелял по бегущим немцам, ему действительно казалось, что он уничтожает миллионы. Выпустив целый диск, он взял нож и бросился вдогонку за убежавшими четверьмя немцами. Но тут в груди его нестерпимо закололо, он закашлялся, сел на землю и закрыл руками глаза. Когда

Нередка, Подпасков и Сосулька вернулись, Мирских сидел на кочке ипил воду. Голове было мучительно больно, в ушах стоял звон, и вода не помогала.

— Вот как разыгрался, будто ракета, — сказал, смеясь, Сосулька, — пятерых вы сняли, товарищ политрук, а остальных мы раскололи.

— Где раненные?

— Наши? Среди нас нету, а те, что на дороге, тех мы перевязали и в деревню направили.

— Какие дальнейшие приказания? — спросил Нередка, видя, что политрук молча смотрит на них и ничего не говорит.

— Пошли, — сказал политрук, вставая. — И, кроме того, надо беречь патроны.

— Несчастье, вроде севооборота, — говорил, ухмыляясь, Сосулька после каждого «прочесывания», случавшегося с ними: — раз уж ты начал считаться с природой, сиди и жди.

Рассуждения его были, видимо, чем-то убедительны и смешны для всех, кроме Мирских. Он не понимал Сосульки. Не понимал, почему тот так охотно кривляется, не хочет признавать своей фамилии, а откликается только на прозвище, обидное для всякого иного, а для него, совершенно ясно, очень лестное. Однажды Мирских спросил его:

— Почему вы пошли добровольцем, Сосулька?

— А какая ж война без добровольцев? Добровольцы всегда песельники. Они общество любят, товарищ политрук! Случись в моей области партизаны, я бы туда ушел. Вы как о партизанах рассуждаете, товарищ политрук?

Мирских, привыкший обобщать, ответил:

— Партизанское движение стало теперь более трудным, чем когда бы то ни было. В прежнее время партизан прятался в лес, как в крепость, а теперь легче сидеть в дому, чем в лесу.

— Стало быть, я не гожусь для партизанского дела?

— Надо полагать. Патроны вы не бережете, а это разве по-партизански?

— Да они сами стреляют, товарищ политрук. Как увидят немца, так и не могут сидеть. Пуля — она женщина нервная. Прикажете отдохнуть, ноги вроде стер-

лись. Переобуюсь и анекдот расскажу про солдата и попадью.

Анекдотов он знал много и рассказывал их охотно, но, к сожалению, повторялся, и это раздражало Мирских. Впрочем, его сейчас многое раздражало, и раздражение это терзало его, потому что он не мог сдерживать себя, сознавая, что сдерживать себя надо. Он ворчал на Сосульку, обрывал его анекдоты, а когда тот заявлял, что он устал и ему надо или отдохнуть или переобуться, Мирских заводил длинное рассуждение о том, как должен держать себя боец Красной Армии. Он понимал, что рассуждения его плоски и в них нет обычного огня, свойственного ему, но чем глубже понимал он это; тем длиннее делались рассуждения. Кроме того, ему казалось, что Сосулька не так-то уж устает и остановки придумывает для того, чтобы отдохнул политрук, да и анекдоты, пожалуй, рассказывает, чтобы товарищи не грустили.

Поэтому Мирских во время остановки не садился, а стоял, стараясь дышать так же ровно, как и его спутники, он только прислонялся слегка к дереву. И так он стоял, задумчивый, высокий, стройный, готовый всегда к поединку, и они казались секундантами при нем. И в конце концов они завидовали приятной и нежной заботью его силе и выносливости.

А в общем получалось так, что шли они день ото дня все медленнее и медленнее, а в особенности медленно приходилось двигаться по лесу. Дело в том, что после каждого «прочесывания» немцы оставляли в лесу «кукушек» — снайперов, снабженных десятидневным запасом продовольствия и патронов, искусно замаскированных на верхушках деревьев. Эти снайперы, в большинстве своем члены фашистской партии, должны были уничтожать всех, кто проходил по лесу. При следующем прочесывании снайперы менялись. Из-за этого Мирских проводил своих бойцов по лесу всегда между тремя и пятью часами утра, когда снайперы на деревьях, утомленные бессонной ночью, засыпали. Шли босиком, на цыпочках, стараясь не шуметь и не разговаривать; сообщались друг с другом птичьим свистом, хрустом веточек, слабым хлопаньем в ладоши.

А как только приближалось утро, они прятались в ямки. Ямки они научились рыть чрезвычайно быстро

и так умело их скрывали, что не раз слышали над своей головой шаги немецких солдат, а однажды в ямку провалилась нога немецкого солдата. Солдат выругался, вытащил ногу, присел возле норы, вытряхнул землю из сапога и пошел дальше. Когда шаги замерли, Сосулька сказал:

— Так мне его дернуть за сапог в ямку захотелось, ребята, просто сердце чуть не лопнуло. Ведь сапог-то дегтем пахнет. Должно быть, с колхозника какого содрал. В ямку бы мне его да сапогом по глазам, по глазам, по харе...

Другой раз они долго сидели в болоте, зарывшись головами в корни деревьев, свисавших с крутого берега. Немцы только что прочесали лес. Было часов семь вечера, ночь еще не наступила. Можно было битти, кабы не «кукушки». Пятеро потихоньку вылезли из воды, выжали одежду, вернее, отрепья одежды, и присели на мох, всё под прикрытием того же свисающего высокого берега. Перекликнулись две-три «кукушки». Бойцы жадно вслушивались, стараясь угадать, где же они и можно ли их снять. Все затихло в лесу.

Сосулька прошептал:

— Григорий Матвейч, не хочешь побороться для согревания?

Мирских знобило, голова болела, но он согласился. Повозившись слегка с Сосулькой, он быстро запыхался и, выбрав местечко, как ему казалось, потеплее, прилет среди корней. Корни резали тело, как колючая проволока, рот наполняла вязкая горечь, в глазах кололо.

И вдруг, сквозь эту боль, он услышал обрывок хорошей советской песни. Чей-то молодой, сильно срывающийся и, надо полагать, сильно взволнованный голос пел ее. «Только бреда нехватало...» — подумал с большим неудовольствием Мирских. Но он знал, что бред бывает короткими кусками, а здесь мелодия все расширялась, крепла и делалась сложнее. Он привстал на локте. Сосулька сказал ему шопотом:

— Поют. Граммофон, что ли, Григорий Матвейч?

— Поют, — мечтательно сказал Отдуж, — ловко поют. В граммофоне куда хуже получается.

Они встали и потоползли вверх, цепляясь за корни. Здесь они высунули головы и изумленно стали прислушиваться.

Лес ожил. Слышались шаги, голоса, кто-то бесстрашно лез на деревья, раза три-четыре выстрелили из револьвера, над лесом пронесся испуганный вопль «кукушки». Еще час тому назад казалось, что и воробью не уцелеть в этом лесу, так умело был пристрелян каждый кустик и каждая былинка, а сейчас лес был полон советскими людьми — партизанами, полон настолько, что «кукушки» в ужасе соскакивали с деревьев и бежали куда глаза глядят.

— Не-е... — сказал восторженно Отдуж, и сразу стало понятно, почему он пошел в добровольцы. — Не-е, нашего человека не прострелишь!

Да, лес ожил. И ожил он, как всегда оживает творчество, — с песней. Песня царила над лесом. Песня! Пусть немцы, вооруженные автоматами и минометами, находились в трех-пяти километрах, всё равно, — песня царила над лесом. Конечно, это не была та беззаботная песня, которую мы слышали до войны, — это была другая песня, хотя она пелась на тот же мотив и на те же слова. Эта песня была тяжелая и грозная, как скрижаль, как закон. В этой песне слышался скрежет ненависти, клятва, что, если бы нехватило оружия, соскребли врага ногтями с нашей земли. Это было навечно скрепленное согласие на борьбу. Да, это была песня, та песня Родины, которую нельзя ни победить, ни уничтожить.

Пятеро стояли, затаив дыхание. Песня скрутила их души, как скручивают листок бумажки для зажигания костра. Огонь бежал по их жилам. Они дрожали от радости и восторга.

У Мирских и Отдужа катились из глаз слезы. Катились они одновременно, хоть и по разным причинам. Мирских плакал потому, что, хотя он никогда не сомневался в конечной победе большевистской партии, сейчас он увидел осуществленную ею победу. Та партия, к которой он принадлежит сейчас и за идею которой он в юности сидел в тюрьме и был в ссылке, эта партия стояла рядом с ним и пела, когда он уже настолько физически устал и ослаб, что не может петь. И она будет петь вечно! Пусть даже среди партизан, поющих в этом лесу, нет ни одного партийца, все равно следы их ведут к его партии. Вот почему плакал Мирских, в то время как крестьянин Семен Отдуж плакал потому, что понимал — люди с такой песней не отдадут его земли помещику и

вообще после этой войны будем жить еще более справедливо, чем жили до нее. Иначе, какая ж ценность людям и их мечтам!

А Сосулька просто подпевал партизанам на гармошке, плотно прижимая ее к сухим и голодным губам.

А Гнат Нередка, одобряя мотив песни и ее воинское содержание, думал в то же время: с какой военной целью раздается эта песня?

А Мирон Подпасков, как всегда, ворчал, переваливался с ноги на ногу и ежил плечи, словно над ним моросил дождь. Он тоже был растроган, и растроган по-своему. Ему почему-то пришло в голову, что он стал слабеть умом. Рябой и длинноухий каменщик Герасим Петрович три месяца назад занял у него в пивнушке четыре рубля и до сих пор не отдал. Ну, не отдал, так отдаст, чорт с ним, а самое обидное то, что вспомнил об этом Мирон только сейчас. «Нехорошо, не по-дружески, — мелькнуло у него в голове: — долг надо отдавать. А вдруг он в этом партизанском отряде, Герасим Петрович-то? Да, хорошо бы встретиться, взять табачку, покурить и сказать: «Прах с ним, с долгом-то, ради долгов живем, что ли?» И растроганные партизаны дадут пицци — каши, щей, кусок сала, потому что партизаны, как он видел однажды в кинематографе, очень сердобольные люди...

Но партизаны оказались совсем не сердобольными людьми.

Когда их пятерых привели пред очи начальника, он принял их как дезертиров. Особенно подозрительным ему казался почему-то Мирских... Партизанский начальник сидел на пне, ноги его были обернуты одеялом, на голове торчала шапка с ушами. Фонарь «летучая мышь» освещал его короткие руки и бритое молодое лицо с кислым каким-то выражением. Он долго рассматривал документы, фото и долго сверял — подходил ли личинный рост Мирских к тому человеку, который изображен на фото, а фотография была из тех, узнать по которой человека, даже стоящего рядом с ней, можно лишь при богатом воображении. Мирских был обижен и отвечал резко, холодно. Начальник отряда, как оказалось впоследствии, районный агент уголовного розыска, задал несколько неожиданных вопросов.

Должно быть, ответы Мирских удивили начальника,

потому что знания эти, даже для себя, он считал редкими. Допросив всех, он снял одеяло с ног, — ноги у него оказались забинтованными, — велел подать носилки. Его положили на носилки, он сделал под козырек, и отряд его двинулся дальше, ведя с собой двух «кукушек», которые от страха перед внезапно появившимися в таком изобилии партизанами слезли с деревьев.

— Товарищ начальник, — спросил Подпасков, — а насчет нас как же?

— А чего насчет вас?

— Распоряжения никакого не будет?

— Ну, идите, куда идете, — сказал начальник.

Они и пошли.

Все молчали. Только Сосулька пытался что-то подсвистать уходящей песне, да и то у него не получалось. Пройдя минут пятьдесят, Нередка сплюнул и сказал:

— Добрый солдат.

Но тут их догнал верхом на коне пожилой партизан и предложил им вернуться к отряду.

— Я ж говорил, покормят. — воскликнул Сосулька. — Не могут не покормить людей!

Начальник опять сидел на пне, и ноги его были обернуты одеялом. Лицо его было попрежнему непроницаемо, и попрежнему равнодушием веяло от тона его вопросов. «Ну, и человечина!» — подумал с неудовольствием Мирских. Начальник же, голосом допрашивающего, обратился к нему:

— Языки иностранные знаете?

«Вот дурак, — подумал Мирских, — сейчас спросит: «знаете вы русский язык?» И он ответил:

— Знаю.

Но начальник был умнее, чем предполагал Мирских. Он сказал:

— И немецкий?

— И немецкий, — любезно ответил Мирских.

— Читаете? — тоже любезно сказал начальник.

— Да, — еще более любезно ответил Мирских.

— И пицете? — совсем уже любезнейше спросил начальник и даже улыбнулся.

— И пишу, — ответил Мирских. — У вас папироски нету?

— Как не быть, — ответил начальник и дал всем

пятерым по папироске. Затем, указывая на немецкого солдата в короткой меховой куртке и коротких сапогах, сказал: — Кукушку надо спешно допросить.

После допроса начальник совсем подобрел. Он выдал еще по папироске и приказал отделить от скудных партизанских запасов на всех пятерых два килограмма хлеба и двести граммов масла. Хлеба им выдали действительно два кило, но масла не оказалось.

— Значит, кончилось, — сказал начальник, задумчиво глядя на Мирских. — А масло у нас было, не подумайте. Вот языка у нас нету, это верно: плохо. Прошлый раз сели мы на караул. У них телефонный аппарат с городом: можно все узнать, будь у меня язык. Я беру трубку, слышу — немец там дышит, а я ему ни слова. Такая злость взяла, что и выругаться не смог. Нет, неважно у нас было дело доставлено в угрозыске.

И он опять задумчиво посмотрел на Мирских. Лицо Нередка, бывшее до того одобряющим и почти восторженным, приняло вдруг сосредоточенное выражение. Он опасался, что начальник предложит Мирских остаться. Как же это? Ведь распоряжения майора не было. Он быстро составил в голове сводку всех мыслей своих и нашел такую фразу, которая сразу дала понять начальнику, что он и Мирских, в некоторой степени, соседи по приказу.

— Весело идти на восток, товарищ начальник, — сказал Нередка громко, прикладывая руку к шапке. — Счастливо оставаться прикажете?

Начальник понял его. Он улыбнулся и сказал про Нередка, глазами указывая на него Мирских:

— Высший сорт! С таким бойцом дойдете счастливо. Пока!

Пройдя километров десять, уже в поле, Мирских сказал, вспоминая начальника отряда:

— Мужественный человек.

— Такой из соломинки дворец выстроит, — сказал Отдуж.

— Шутник, — добавил Сосулька.

И даже Подпасков сказал, хотя ему и хотелось бы оставить эту мысль при себе:

— Такой и в моем хозяйстве бы пригодился.

А еще километров через пять, когда остановились, чтобы Мирских мог передохнуть, Нередка сказал:

— Добрый солдат. То, что он нам и патронов не дал, это мы, на его месте, тоже б сделали.

Тормоз всякого похода — голод.

Действие этого тормоза было и стремительным и гнетущим. Крестьяне, к которым они стучались, чтобы утолить голод, понимали их по стуку. С какой-то военной торжественностью они говорили, что хлеба нет, что весь хлеб поотнимали немцы: «Не верите — проверьте». А один крестьянин сказал, чем и привел в восторг Со-сильку:

— Немец сказал: можете торговать оптом и в роз-ницу. А можем мы торговать разве что смертью, да никто ли за грош ее не берет. — И, словно прислуши-ваясь к чему-то, приближения чего они не слышали, он добавил: — Вон она топочет.

Из села они спустились в какой-то парк. Они вдыхали запах душистых тополей, и им казалось странным, что село, которое они только что покинули, не пахло ничем. И хотя аллея была суха, но идти было тяжело и тошно, словно здесь неделю шли дожди.

Они томились: сильно хотели есть. Их утешало лишь то, что, когда они нападали на немцев, согласно пункту «б» приказа майора, немцы тоже были голодны, галеты, найденные при немцах, были тонки, как бумага, и, пожалуй, столь же питательны.

Да, они хотели есть. Это желание было столь убедительно, что казалось, от них убегает все живое. Мир был убог, жалок и скуден. Над головами их высилась голубая осенняя пустота, похожая на погребальный убор.

Первым стал жаловаться на голод Подпасков. Жаловался он своеобразно. Он вспоминал подробно, какую жирную убоину он заготавливал перед праздником. Однажды он кормил двух поросят, и случилось так, что задолго перед Рождеством у младшего отнялись ноги и его пришлось прирезать. Нарядили стол, позвали го-стей и кончили поросенка за один вечер. И никому, главное, не было жалко... Тут он, моргая опухшими глазками, показывая исцарапанную в кровь грудь, вос-кликнул, обращаясь к Мирских:

— Где пища? Куда вы нас привели?

Голод, недосыпание, усталость совсем ослабили Мир-ских, однакоже он не потерял дара речи и, казалось,

стал еще громогласнее. Попрежнему, когда он говорил, он казался выкованным из железа. Слова его входили в человека, как револьвер в кобуру. Он никогда не коверкал слов. Он был чист, как ключ.

Он сказал:

— Другой дороги не было. Может быть, вы это поймете позже, Подпасков.

— Я хочу понять сейчас.

— Тогда я хочу попросить вас выслушать меня. То, что вы видите вокруг себя — пожарища, убийства, насилия, — дает вам понятие о том, что мы поступали справедливо. У нас один кров с вами — наша сила. Другого крова и другой родины у нас нет. Упустишь силу, отдашь ее немцу, — и не будет крова. Тут уж ничего не поделаешь, раз оказалось, что наши дома стоят у дороги войны. Дорогу можно сократить только, если встать посреди нее.

Сам не замечая того, он говорил замысловато, так, как говорили и Подпасков, и Сосулька, и Отдуж. И эта замысловатость, высокий его голос, сильный и гулкий, несмотря на усталость, делали слова его понятными им всем.

— Надо исполнять приказ, а не хныкать, — сказал Нередка.

— А если он мне непонятен? — воскликнул Подпасков.

— Чего ж непонятного? — отозвался Нередка. — В приказе всего четыре пункта.

— Да нету главного.

— Какого?

— А где тот пункт, что меня накормят?

Нередка достал свой голубой, сильно полинявший от стирки, носовой платок, который он обычно стирал каждый день и сушил на кустике. Свертывая платок, он сказал:

— То, что хлеба нет, то нас не сказнит. А что вот патронов стало мало, то нас сказнит и утрамбует.

Несколько патронов оставалось еще у Гната Нередка, но больше всего; несомненно, хранилось их у Подпаскова. Две котомки на нем да две на Отдуже весьма емугодились. Подпасков, как только уразумел, что патроны дороже хлеба и способны поднимать угасающий дух, стал менять и выпрашивать их у крестьян с

удивительным умением. Он сразу угадывал хату, где могли найтись патроны, и умел увлечь рассказом о своих несчастьях крестьянина, который, вздохнув и утирая слезы, доставал из подпола две-три обоймы.

Меньше всех имел патронов Сосулька, обычно не больше тройки. «Зато о тройке сколько песен поется», — говорил он, смеясь. Подпаскова сердил этот легкомысленный смех. Ему хотелось, чтобы Мирских «произвел увещание насчет Сосульки», но Мирских слабел все больше, так что половину дня, меняясь, они несли его на носилках. И странное явление, — всякий раз, когда Мирских открывал глаза, он останавливал свой взор на Подпаскове. Да и Подпасков смотрел на него пристально, так, что Мирских думал: «Картину надо расчистить, можно услышать в нем новую увертюру...» Он путал слова, но мысль его была правильна, и он не хотел оставить Подпаскова таким, каким встретил.

А сущность этой новой мысли, как начинал думать Подпасков, заключалась в том, что надо возможно больше заботиться о товарищах и воспитывать в себе уверенность, что без этого жить нельзя, и, главное, уметь уверить в этом других. И однажды, когда стали меняться и ему надо было взяться за поручни, чтобы нести Мирских, он, Подпасков, достал все семь обойм, которые хранились у него, и положил их на горячую, пышущую жаром руку Мирских.

Мирских почувствовал на ладони холод и открыл глаза. Неподвижный взгляд его спрашивал у Подпаскова: «А как же ты, товарищ? Ты же отдал мне последнее!» И на этот неподвижный взгляд таким же теплым, неподвижным взглядом отвечал Подпасков: «Ничего, товарищ, я ловкий, я найду!» Мирских сказал, закрывая глаза: «Спасибо, друг!» И тут Подпаскову показалось, что он давно уже копил в себе эти мысли, увлекающие и увлажняющие не только его глаза, но и сердце, — и накопил их в себе так много, что способен очень сильно и долго думать о других людях, чем раньше он занимался не с такой уж охотой, разве только о близких родных.

Утром, когда они залегли в чашу, он исчез.

Он не возвращался долго, так что Гнат Нередка обеспокоился. Он, пожалуй, один из всех не понимал того перелома, который произошел в душе Подпаскова, но в

то же время он один мог не поверить, что Подпасков пропал.

— Хороший боец, — сказал он, — такие навсегда не пропадают. Разве что плохие инструкции получил.

Но никто не давал Подпаскову инструкций. Мирских лежал без памяти, остальные и не видели толком Подпаскова. Нередка подошел к Мирских. Мирских дышал поспешно, точно поднимающийся быстро в гору неумелый пешеход. Нередка смотрел на него, и ему казалось, что Мирских получил увольнительное свидетельство от жизни и теперь отмахивается от него пальцами. И еще казалось ему, что кто-то в отдалении скачет, хотя он и знал, что всадников поблизости нет.

Гнат Нередка сказал с тоской:

— Большая неувязка...

Тогда Мирских открыл глаза и произнес последнюю речь, самую короткую в его жизни:

— Подпасков принесет вам патроны... — сказал он и, сделав пальцами такое движение, словно развязывал узел, вздохнул и умер.

Трое неподвижно и пристально вглядывались в него, словно узнав о нем что-то необычайно важное и огромное, что нельзя покинуть. Они стояли объятые этим чувством, которое можно было бы назвать тоской расставания. Сначала им показалось, что потеряна навсегда дорога на восток, но затем каждый стал думать о Мирских по-своему, не расставаясь всё же с общим и сроднившим их горем. Мирских лежал под кустарником. Веточка, которую он всколыхнул своим последним дыханием, еще качалась.

Нередка сказал:

— Так как мы удостоились присутствовать при такой героической смерти, когда политрук Мирских вел нас на восток, не имея компаса, то я, в силу обстоятельств, беру на себя командование.

— Ну, что ж... — только и мог сказать Сосулька и вынул из кармана губную гармошку. Гармошка теперь казалась ему вздорной игрушкой, не достойной жить в такие великие дни, и он хотел бросить ее.

Нередка, как командир, понял его, хотя раньше, часа за два до смерти Мирских, ему бы и в голову не пришло так думать. Он взял за руку Сосульку и сказал:

— Зачем бросать инструмент? Приказываю тебе при погребении сыграть товарищу марш, пока не подошел оркестр и взамен холма не поставили памятник...

И вот над останками политрука Григория Матвеевича Мирских, в поле, возле ракиты, поднялся низенький холм и надпись на обструганной жерди, над которой была прибита выплетенная из лозы звезда: «Политрук Н-ского полка Г. М. Мирских. Погиб геройской смертью. Товарищи, уничтожайте фашизм!»

Когда составляли эту надпись, вернулся Подпасков. Он нес ящик с патронами. Он бросил этот ящик возле могильного холма, и все проникновенно посмотрели друг на друга, и всем подумалось, что вот этот ящик с патронами и есть тот вечный и нетленный памятник, который воздвигли на могиле политрука Мирских.

И, отдав честь мертвецу, Нередка сказал всем остальным:

— Взаперти не будем. Приказываю, согласно пунктов, шагай на восток!

Их осталось четверо.

Дорога стала еще более извилистой и топкой. К тому же пошли дожди. Немцы попадались все чаще и чаще, заботы увеличивались, а усталости было так много, что им казалось, будто они идут уже годы по этим болотам, лесам, валежнику.

О политруке Мирских стали забывать.

Подпасков забыл о нем с той философией крестьянина, которая жизнь взвешивает тем — отмучился или еще мучается человек. «Да, отмучился хороший человек», — сказал Подпасков, — и это была высшая похвала человеку. Так он думал об отце, когда тот умер, так он думал о брате, погибшем лет пятнадцать тому назад от бандитской руки. Погоревал, поплакал, — и принялся за недоделанную ими работу в хозяйстве.

Сосулька с тем великолепием порыва, который отличает всех поэтов и музыкантов, сочинил песенку, где вместе с покойным политруком как бы взобрался на высокую гору, откуда видна вся правда.. И он стал рассказывать всяческие истории оставшимся товарищам, так как и этим трем необходимы были утешение и шутка.

Гнат Нередка забыл Мирских потому, что теперь сове-

товаться было не с кем. Приходилось из самого себя черпать гордость и уважение к войне, которую теперь необходимо вести, более чем когда бы то ни было, смело и неуклонно.

Чаще всех, пожалуй, вспоминал политрука Мирских тот человек, с которым политрук меньше всего разговаривал, но который был понятен ему больше всех других, так как Семена Отдуж политрук считал мужиком пылким, восторженным и решительным, но из-за слабости здоровья и долгу терзавшей его нужды потерявшим веру в свою решительность. Так юно и было. То, что друг его Подпасков, необычайно практичный, который даже из деревни-то ушел с Семеном за год до сильнейшего неурожая, крестьянин, постоянно думавший только о себе и о своем хозяйстве, теперь думает лишь о других и, больше того, заботится о Сосульке, песельнике, шутнике и вообще человеке пустом и вздорном, казалось Семену величайшим чудом, вызванным волей и решимостью политрука Мирских. Зависимость от Подпаскова, иногда казавшаяся Семену слегка тяжелой и непонятной, была теперь и понятна и почетна. Вот почему Семен хотел возможно больше знать о политруке, но все его товарищи знали о нем мало, так как познакомились с ним только перед походом, а сам политрук говорил себе неохотно. Знали только, что он был в царской тюрьме, в ссылке, да перед вступлением в ополчение заведывал музеем, где висели картины, написанные красками.

«Почему картины? — думал Семен. — Что в них?» Живопись, картины он путал с кинематографом, а в кино он бывал редко, так как ему казалось, что там чересчур много двигаются люди и мало говорят, а вернее сказать, мало рассуждают вслух, а рассуждения людей Семен считал наиболее важным делом в человеческой жизни. Жена, которую Семен очень любил и рассуждениями которой очень дорожил, посетила, когда была на съезде колхозников, вместе с другими музей — Оружейную палату в Кремле. Она видела там царские короны, сплошь из золота с камнями, много ножей разного размера, но, сколько ни вспоминал он ее рассказы, о картинах она как-то не упоминала, что же касается корон, то это и тогда казалось Семену пустячным делом, а теперь, когда он подержал на голове своей кас-

ку, тем более. Хорошая шапка должна быть легка, тепла, чтобы, при случае, ее можно было положить под голову и заснуть на ней. «Нет, надо самому сходить в музей, — говорил сам себе Семен, шагая болотом и отмахиваясь от последних юсенных и оттого крайне надоедливых комаров, — баба приличная, но чего-то не доглядела».

— Шагай, шагай! — хриплым, надсаженным голосом восклицал через силу Гнат Нередка, смотря искоса на отставшего Семена.

— Шагаю, — отвечал Семен, — прямо в музей.

Но Гнат Нередка не понимал, в какой музей может шагать Семен. Так как Семен никогда не шутил, то Гнату думалось, что в голове у Семена не совсем ладно, и он говорил:

— Как придем, так в околодок сходи, попроси хины.

До Воробьевска по прямой оставалось едва ли двадцать километров. Но эта дорога по прямой была так забита немецкими солдатами и их орудиями, что обходить их надо было километров полтора, не меньше, и полтора километра сплошь болотами, сырой землей, тяжелой и холодной, где не зажжешь ни костра, не закуришь, где в каждом чмокании, с которым вытаскиваешь ногу из земли, как бы слышится насмешка врага.

Они стояли на краю оврага, в который надо было спуститься, так как приблизился рассвет. Овраг, скудный, общипанный, дышал на них сыростью и отвратительной, надоедливой прелью.

— Волчий овраг, — сказал Подпасков.

— Да и волки-то в нем с голодухи передохли, — добавил Сосулька, и это была его последняя шутка в тот день.

На востоке, там, где маячили лучи рассвета, слышались редкие раскаты, точно кто катал гольши. Там рокотали советские орудия. Этот отдаленный, но решительный голос давал четверым право на жизнь, но в то же время вызывал головокружение, потому что перед ними вставала обходная дорога, — все полтора километра болотами.

Перед тем как подойти к оврагу, они обошли деревню и теперь стояли к ней спиной, но они помнили все

очергания ее: голубоватая, с черным, как головешка, выгоном и с тремя испуганными дымками из труб, она вызывала в сердцах их томление и надежду. И сейчас они думали: не вернуться ли к ней, не найдется ли в ней добрая душа?

Пролетел самолет со свастикой на крыльях. Они легли, выругавшись. Когда они встали, деревня, казалось, приблизилась к ним, и овраг был еще отвратительнее, чем прежде. Они смотрели исподлобья на его бока, испокон века испещренные вымоинами, на дно, покрытое искристыми валунами, и на крылья его, покрытые кривыми дубами, среди которых так удобно красться.

И всё же они не повернулись бы к деревне, если бы не крик курицы, сообщающий, что она снесла новое яйцо. Этот крик курицы, слабый и чуть заметный, как испарение, разом повернул к деревне их лица. Искус был велик. Он вызывался жаждой жизни.

Рамы без стекол, надворные постройки без дверей. Три трупа смердели в канаве. Неподалеку, в школе, они услышали голоса, перекликающиеся на чужом языке, — и они остановились.

— Давайте мне все патроны! — сказал вдруг Нередка.

Они послушно передали патроны, не спросив, для чего они понадобились ему. Но Гнат сам объяснил своим замысловатым слогом:

— Приказываю искать помощи, поскольку исключительно скомканы недоеданием. В случае вашего непоявления, беру под свою защиту.

То есть он приказывал им искать помощи у крестьян, а сам становился в резерв, если крестьяне выдадут. Сказав это, он сделал под козырек и свернул в огород, а они двинулись вдоль плетня.

Колебания маятника все же есть колебания, хотя бы он ни на терцию не уклонялся от задачи показывать время.

Так и трое оставшихся.

Они долго колебались, прежде чем заглянуть через плетень на двор и слабым голосом крикнуть: «бацько!» Колесо солнца вело их по колее и привело к одному двору, не очень отличному от прочих. Так же, как и в других дворах, плодовые деревья в нем обломали немцы, так же всюду были сорваны двери и выбиты окна

и так же долго не получали они ответа на свой призыв к доброте отца-кормильца.

Наконец дверь распахнулась. Короткобородый крестьянин, в проседи весь, сверкнув, словно ножом, глазами, вдруг посторонился и сипло сказал:

— Входите!

За столом в хате, против печи, вороша угли и с незакуренной папироской во рту, сидел второй крестьянин, помоложе. Он был в солдатской одежде, но босой. Взор его сверкнул с той же силой, что и у отца, так что взором, казалось, он мог опрокинуть человека, как буря лодку.

— Побираетесь и пробираетесь? — спросил крестьянин постарше.

Подпасков, к которому перешло командование, пожелал внести в отношения свои с крестьянами точность и определенность. «Если предашь, чорт с тобой, но чтоб сразу!» И тут же он подумал: как же все-таки они ослабели, раз забыли обменяться с Гнатом условным знаком. Ну, каким образом Нередка поймет, куда прийти на выручку? Но даже и не зная того правила, что философское слово нуждается в долго создаваемой оправе, как бриллиант или рубин, а деревенская мысль величественна сама по себе, словно валун среди долины, Подпасков сказал грузно и тяжело, будто выкатывая валун:

— Жрать дашь, батько?

Крестьянин молча подошел к печи. Второй крестьянин передал ему горшок. На дне его лежали остатки солдатской каши, видимо, из пшена, принесенного сыном. Трое мгновенно съели всю кашу, и когда обнажилось дно, они переглянулись.

— Ну, теперь пойдете в клуню.

И он привел их в погреб.

Погреб был тоже без двери, погребная яма — пуста, гнилая солома устилала пол. Крестьянин остановился посредине, опустил голову и развел руками, и, поглядев на этот жест, на узкие его плечи, Семен Отдуж подумал: «Не выдаст». Крестьянин сказал:

— А завтра Иван отвезе... Он на ту сторону хоче. Ну, пускай его, раз хоче... пускай везе... Сын мой, сынку...

Голос у него был опустошен горем, и только голод и усталость мешали Подпаскову понять это горе. Со-

сосулька уже спал, уткнувшись в гнилую солому, а Семен Отдуж, никак не желая огорчать друга, когда крестьянин ушел, все же осмелился сказать, впрочем, так и не договорив фразы:

— Никак того нельзя...

— Чего никак нельзя? — грубо, как всегда говоря с Семеном, спросил Подпасков, привстав на локте и зорко всматриваясь во двор.

— Нельзя так о нем думать...

— Как?!.

У ворот слышались чужие голоса, стукнул приклад, о стену хаты разбили бутылку, — и словно что сверкнуло и резнуло по сердцу: немцы дружно захохотали.

Подпасков прикрыл соломой Сосульку и шопотом сказал Отдужу:

— Ложись, прикрою.

Отдуж тоже шопотом ответил:

— Я тонкий, давай тебя.

Подпасков толкнул его в бок и зашипел:

— Ложись, приказываю.

Отдуж лег. Дышать было трудно, и спать уже не хотелось.

— Девоч ищут, — сказал чуть слышно Отдуж.

— Не девочек, а нас, — ответил Подпасков.

— Чего нас искать, мы спим, — сказал, просыпаясь на мгновение, Сосулька. Резко повернувшись на другой бок, он опять уснул.

Подпасков вздохнул:

— Вот уж верно: дуракам счастье.

— Он не дурак, — сказал Семен.

Подпасков вытряс из головы солому.

— Ушли. Вставай. Да ушли, тебе говорят.

Голоса немцев действительно слышались едва-едва. Через двор, охая, прошел пожилой крестьянин, и Подпасков сказал:

— Ой, чую я, продаст. Только чего он задерживается, интересуюсь.

Сосулька, опять проснувшись на мгновение, сказал:

— Интересовался парень девкой, а она ему двойню да исполнительный лист.

Подпасков засмеялся, и ему, тотчас же после смеха, захотелось спать.

— Спи! — сказал он строго Отдужу, и тот лег. Подпасков прикрыл его еще соломой, зарылся сам и заснул.

Проснулись они от стрельбы зениток. Солнце стояло высоко. И казалось, — выше, чем солнце, летели над землей советские бомбардировщики. Сердца троих наполнились гордостью, а больше всех был преисполнен гордостью Подпасков. Он сидел на гнилой соломе, охватив колена руками, думал о том, что надо бы вырыть на случай появления немцев ямку, и в то же время говорил сам себе: «А плюю я на вас, людоеды». Ему было приятно так думать. Он подмигивал сам себе мокрым умиленным глазом и бормотал вслух: «Эк, тебя подмело», и это надо было понять, что он умеет и способен исполнить любой приказ командира. То, что он стал теперь другим, подлинным человеком, совершенно не занимало его, и то, что он с глазами, полными слез, слушает, как летят советские бомбардировщики, казалось ему не переломом в душе, а точным исполнением приказа. Он подтверждал это, бормоча: «Что же, раз есть приказ, мы дадим подмогу». На одну секунду мелькнула мысль о доме, но те мысли, которые занимали его сознание до войны, то есть получить медаль, выйти в председатели колхоза, заработать побольше денег и купить несколько дорогих и ненужных вещей, теперь казались ему нестоящими, пустыми. Он уже не мог представить жену в новом платье, с золотыми часами на пухлой руке. Он хотел только увидеть ее лицо, да и то лишь тогда, когда ему разрешит Родина.

— Семен, слышишь?

— Слышу, — растроганным голосом ответил Семен.

И Подпаскову было удивительно приятно понять, что у Семена те же мысли, а может быть, даже крупнее и трогательнее. Но долг командира, каким себя сейчас чувствовал Подпасков, не разрешил ему долго «кукаться».

— Я о другом, Семен. Поручаю тебе — приведешь изпод ракиты Гната. А я пока вырою яму, и будет в той ямке лежать один человек на всякий запасный случай.

— Слушаюсь, товарищ командир!

— Если не способен привести, так и говори. Я пойду.

— Приведу, Мирон Ефимыч!

— Смотри, доверяем жизнь, Семен.

— Уж что-что, а доверие я понимаю, Мирон Ефимыч!

И Семен, шепча что-то про себя, ушел.

Подпасков и Сосулька взяли лопаты. В углу стояла полуразвалившаяся бочка из-под огурцов. Они решили вырыть ямку под этой бочкой, а землю сбросить в погреб. Рыть было трудно, так как земля в погребе слежалась и в ней было много щебня. Рыли они без перерыва часа два, и к тому времени вернулся Отдуж.

— Приказано антервалом итти! — сказал он, вбегая в клуню. — Дай лопату, надо ямку пошире, а то Гнат будет ругаться.

Действительно, после «антервала» минут в пятнадцать пришел Гнат Нередка. Он осмотрел ямку и проговорил недовольно:

— Кошке в этой яме сидеть, а не бойцу Красной Армии, — и, оглядев всех, как бы этим принимая вновь командование, добавил: — Приказ вышел в силу того, что нас теперь четверо, и согласно пункту один должен быть в резерве на предмет мищения или чего-либо сообразного. Семен, садись в яму, жди.

Семен послушно сел в яму. На яму надвинули бочку. Нередка достал из кармана клочок бумаги:

— Надо домой, кому хочется, написать. Порубят немцы, один уцелеет, передаст. Также и рапорт. Подпасков, говори адрес и что писать.

— Пиши, — сказал протяжным толосом Подпасков. — «Дорогая жена и детки, Пишу вам из отряда в немецком окружении, где мы сражаемся под руководством товарища Гната Нередка. Во всяком случае, фашисты будут уничтожены, враг будет разбит, и победа будет за нами. С получением сего, я буду мертвый, и пусть дети подрастут и сражаются с лютым врагом...»

— Хватит, — сказал Нередка, — бумаги иначе на всех не достанет. Сосулька, каков твой адрес?

— А ты припиши мой адрес в то, Подпаскова, письмо. У него жена исполнительная, она моим напишет, а бумаги еще закурки на три тогда останется.

— Это верно, — сказал Гнат, приписывая к письму Подпаскова адрес Сосульки. — И табаку вровень, и бумаги тоже. Полезай, Сосулька, в яму, письмо будет писать Семен.

В разных они сидели ямках, но эта, в погребе, оказалась самой душной и самой тяжелой. Но они сидели безропотно каждый свой срок, который указывал им

Нередка. На краю лежали три записки с адресами, а как только садился сменный в ямку, трое оставшихся повторяли ему, сами не замечая того, всё, что они говорили сидевшему перед тем в ямке.

Солнце скрылось. Упала роса. Поднялась луна. С севера подул холодный ветер и показались тучи. Пришла опять очередь Сосульки сидеть в яме.

— Под луной человек выше, а под солнцем подлее, — сказал он, надвигая на себя бочку. — Если тот батько нас выдаст, я его подкурю, ребята, так, что он вместе с хатой сгорит.

— Молчи, идут, — проговорил Гнат. — Письма не забудь. Всё согласно пункту.

— Будьте покойны, ребята. Прощайте.

— Прощай, — сказали они шопотом.

Вошел крестьянин. В руке он держал краюху.

— Коней у нас немцы поотнимали, так Иван их у немцев отнял, — сказал он просто и неспеша, протягивая им краюху. — Пойдем до коней, а то как бы немцы не хватились.

В темноте глаза его казались еще более тоскливыми, а голос резал сердце. Однако они сдержали себя и старались не верить ему.

— На ту сторону сын хоче, — сказал крестьянин. — Ну, что ж. Хоче, так пусть..

И он проводил их за огород.

Пара коней, запряженных в бричку, стояла у плетня. Иван соскочил с сиденья, поправил чересседельник, не столько для надобности, сколько, чтобы скрыть слезы, затем поцеловал отца, и отец сказал троим:

— Садитесь. А то немцы догадаются.

— Да они ж все равно догадаются, — сказал сын горестно. — Не уцелеть тебе, батько!

— А, пускай!

Гнат Нередка спросил у крестьянина помоложе:

— Чего ж отец с нами не едет?

— Да нельзя, Параска больна. Как оставишь?

— Нельзя оставить, — подтвердил пожилой крестьянин.

Подпасков и Отдуж сидели в бричке, Нередка стоял, опустив голову.

— Обождь приказа, — сказал он.

Подпасков думал о том же, о чем думали остальные.

Теперь уже не было сомнений, и крестьянину они все верили.

Оглядывается он торопливо, на дне брички лежат четыре немецких ружья с патронами, да и бричка, видимо, досталась Ивану не даром, так как весь передок ее обрызган кровью. Ясно, что опасения их были напрасными и предвестие недоброго появилось из-за усталости и измучившего их голода.

И что же: раньше получалось так, что они оставляли Сосульку на жизнь, спасали его, а теперь выходит, что оставляют его на смерть.

— Приказываю поправку, — сказал Нередка, и, круто повернувшись, он вернулся в клуню.

Подпасков объяснил пожилому крестьянину:

— Четвертого решили с собой взять.

— Да я знал, что он там сидит, — сказал крестьянин. — Мы так только полагали, что он не хочет или оставлен для вашего дела.

Четверо уселись в бричку.

— Прощай, Иван, — сказал отец.

— Прощай, батя, — ответил сын.

Нередка озабоченно посмотрел в лицо Ивана. Это было красивое, честное и гордое лицо. Он спешил к бою. Он хотел защищать Родину. И, наверное, поддаваясь великодушному свету луны, о котором недавно говорил Сосулька, предводитель отряда подумал: «Из такого лица знамя можно выкроить».

— Двигай, — сказал Нередка.

Бричка вошла в лес. Она пробиралась такими топкими и непроходимыми местами, что, как ни хотелось четверем спать, они не могли не любоваться на ловкость Ивана.

— Да никакого дива тут нет, — сказал Иван. — Мы сюда постоянно за сеном ездим, каждый метр знаем. А вы бы отдохнули пока. До Воробьевска езды часов шесть.

Они уснули.

Иван сидел, смотрел на дорогу — и не видел ее. Кони шли сами. Иван думал об отце, о больной сестре и о том, что эти голодные, оборванные люди напомнили ему о любви к Родине, о необходимости защищать ее и что, при взгляде на них, он решил уйти из дома «на ту

сторону». Он гордился тем, что они доверились ему с первого взгляда, и он решил отплатить им тем же, не покидать их никогда. От света луны он казался еще более стройным, красивым и верным. Если б в эти минуты проснулся кто-нибудь из четверых, он бы непременно сказал, что Иван очень походит сейчас на политука Мирских, и ему могло бы даже, под призрачным светом луны, показаться, что деревенский парень исчез, передав вожжи Мирских, и политрук правит теперь бричкой.

Ну, что ж, ведь их теперь было действительно вновь пятеро.



БЫЛЬ О СЕРЖАНТЕ

Эту быль о сержанте Морозове рассказали мне бойцы полка, где служит Морозов, и партизаны, встретившие его на пути. Случилось это в начале 1942 года, когда полк был расколот противником на части и меньшая его часть, где тогда находилось полковое знамя, остановилась в так называемом Парусном холмовьи. Полк продолжал упрямо пробиваться к своему знамени. Немецкие танки, сопровождаемые автоматчиками, занимали узкий перешеек, отделявший основные силы полка от подразделения, которым командовал лейтенант Потапов и где, как я уже говорил, находилось полковое знамя...

Но предварительно надо сказать несколько слов о Василии Морозове.

Василий происходил из села Крицы, расположенного неподалеку от Парусного холмовья. Отца, сестру он не видал с начала войны. Вот теперь, когда полк перебросили в холмовье, Василий рассчитывал увидеть родных... Вместо этого, как раз накануне боя, он узнал, что его больной отец и сестра, не пожелавшая оставить отца, попали к немцам. «Что ж, колхоз им коня не мог дать? — думал со злостью Морозов. — И знакомые с конями есть! Скажем, заведующая почтовым отделением — Смирнова Надя!..»

...Мобилизованный, он шел на станцию. Надя?! Желтый свет лампы льется из ее окна. Она разбирает полученные письма... еще мирные... Подняла голову. Видит? Не видит! Любит? Не любит!.. Где там спрашивать, когда за все встречи от смущенья и пяти слов не сказал. Да и что случалось при встречах? Поле.. Кустарник. Пруд. Полдень. Тележка, в ней баулы. Конь... Здравствуй-

те, прощайте... Вот теперь бы встретить, он бы сказал!.. Но где теперь встретишь? Немцы, немцы. А-ах, скоты!..

Красноармейцы, те, что не стреляли, вызваны к редкому березняку, покрывавшему спину высокого холма, где расположились позиции подразделения лейтенанта Потапова.

Сырой, серый и длинный день словно еще удлинялся в этом полосатом и кочковатом холмовьи, где остановилось подразделение.

Послышался простуженный и хриплый голос лейтенанта:

— Развернуть знамя полка. Старший сержант Морозов, к древку.

Знамя полка, освобожденное от чехла, повисло под теплыми каплями мелкого дождя.

Жидкая осенняя земля чавкала под сапогами сержанта. Он встал рядом с древком и глядел на командира подразделения, который медленно, с бледносерым лицом, поднимался на холм вдоль коротенькой линии выстроившихся красноармейцев.

Теплый дождь сменился холодным ветром. Непригожие тучи, темные, длинные, показывающие по краям свою белую подкладку, грозили чуть ли не снегом. Лейтенант со злостью взглянул на тучи, и по этому взгляду было понятно, что он принял на себя всю вину за грозящую боевому знамени полка опасность.

Широкое бледное лицо лейтенанта, с его всегда опущенным ртом, приблизилось к молодому, несколько рыхлому лицу сержанта:

— Старший сержант Василий Морозов.

— Слушаю, товарищ лейтенант.

Сержант выпрямился, ловя мысль командира сквозь две бессонных ночи, грузную усталость, сплетающую тело, тоску по родным и желтому свету лампы, льющемся из окна почтового отделения.

— Старший сержант Морозов! Если не ошибаюсь, окрестности занимаемой нами позиции вам широко известны, поскольку вы родом из данной местности?

Сержант ответил утвердительно. Он добавил, что пройдет здесь ночью с закрытыми глазами.

Лейтенант провел ладонью по широкому опущенному рту, и Морозову подумалось, что лейтенанту стыдно плакать при всех глазами и он плачет скрыто, ртом...

— Старший сержант Морозов, вам известна боевая история нашего полкового знамени?

И на этот вопрос сержант ответил утвердительно.

— Повторите ее вкратце.

Дыхание из груди лейтенанта вырывалось с хрипом и хлюпаньем, словно работал насос для откачки воды при сильной течи корабля.

И тогда сержант, повернувшись лицом к знамени и глядя на его багровое полотнище и золотые буквы, которые, казалось, отражались на всех лицах и во всех глазах, сказал низким старательным и в то же время вдохновенным голосом:

— Еще в суровый девятнадцатый год, товарищи, шли в бой под этим знаменем защитники нашей родины. Бойцы полка с честью пронесли знамя по многим фронтам, вплоть до снегов Финляндии. В новых боях за отчизну, пробитое пулями, боевое знамя все время находилось с передовыми подразделениями полка, вдохновляя людей на подвиги...

Он говорил слова, затверженные им давно наизусть и много раз повторенные бойцам на теоретической подготовке. Бойцы превосходно помнили и эти слова, и то, как расположены они, знали их так же, как знали винтовку. Но бой изменяет многие наши знания! А сила убеждения изменяет наши знания иной раз еще больше, чем бой!.. Во всяком случае то, что сейчас говорил Морозов, многое изменило и возвысило в сердцах этих людей, защищающих дальние подступы к городу Ленина, как изменило и лицо сержанта, хотя он и не чувствовал этого. Лицо его, еще недавно такое рыхлое, нерешительное, смущенное, стало сокрушительно-упорным и приобрело какой-то странный цвет. Да, все видели, что он признавал сейчас самым важным и самым необходимым — спасти полковую святыню во что бы то ни стало, каким бы то ни было путем...

Морозов окончил свое краткое слово.

Подразделение пребывало в торжественном молчании.

Лейтенант, вполне удовлетворенный и речью сержанта и своим выбором, дышал ровно. Он сказал:

— Морозов, возьми красноармейцев Гусева и Колькова и проберись через болота, ползком, как хочешь... Знамя передашь в штаб и скажешь, что мы приехали на себя удар немцев, пока ты относил знамя.

Но помни, Морозов: погибнет знамя, — погибнет полк. Согласно уставу — расформируют! Погибнет и твоя честь и честь полка.

— Не погибнет, товарищ лейтенант!

— Так что — сроки тебе малые, а кроме того, лично ты, Морозов, не должен умирать.

— Слушаюсь, товарищ лейтенант.

— Полк по рации извещен, что ты идешь передать знамя.

— Будет передано, товарищ лейтенант.

Лейтенант, крайне медленно, снял с древка полотнище, поцеловал его и передал сержанту. Затем, указывая на пустое древко, воткнутое в землю, сказал:

— А мы будем биться возле этого древка до тех пор, пока есть последний патрон и кровь в жилах. Понятно? Жму руку, Морозов!

Морозов пожал руку лейтенанту, причем тот долго крутил ее в своей.

После этого Морозов пошел по небольшому кругу красноармейцев, пожимая всем руки, а затем, отойдя вместе с лейтенантом в сторону, сбросил гимнастерку и начал обертывать тяжелое шелковое полотнище вокруг своего туловища. Лейтенант сказал:

— Вот и на солдата ты теперь не похож, Морозов. Растволстел. Какого села?

— Села Крицы.

— Родные в селе?

— Встретил третьего дня земляка. Говорит — остался. Отец — болен, а сестра с ним.

— Если посчитаешь возможным, зайди. Они дадут правильную информацию.

— Чего правильней. Прощайте, товарищ лейтенант.

Они подумали и неспеша обнялись. Лейтенант спросил, холост ли Морозов. Сержант ответил утвердительно. Тогда лейтенант вздохнул и сказал:

— Что холост, то одобряю. Хотя, с другой стороны, и холостой много думает, да женатый вдвое того... Ну, прощай еще раз, Морозов. Мою жену увидишь... детей...

И лейтенант вытер ладонью широкий опущенный свой рот.

Долго мерещилось Морозову лицо лейтенанта, его небритые щеки, заросшие твердым волосом, впалые глаза, опущенный рот, и этот пригорок с твердыми коч-

ками, и все это полосатое от поваленных берез кочкватое холмовье под длинными и словно наполненными болезненным соком тучами...

Они вышли или, вернее, выползли из холмовья.

Морозов полз впереди. За собой он слышал легкое дыхание Королькова, лесника. Гусев дышал так, словно, того и гляди, вскипит, как самовар.

Корольков был длинный, сухой, с белесыми усами, похожими на сосульки, да и все его лицо какое-то ледяное, застывшее. Сына его убили в начале войны. Корольков пошел добровольцем и не уставал рваться в самые рискованные предприятия. «Сын сокрушает, кличет, — говорил он в таких случаях, — мне за сына надо итти, он из меня искру высекает». И с Морозовым пойти он вызвался сам, хотя и не весьма доверял сержанту, как ходоку, считая себя опытнее.

Гусев — румяный, круглый, с нежным лицом, которое, казалось, никакая война не выдубит. У Гусева нет, подобно Королькову, личных счетов с немцами. Он обрадовался, когда его призвали, потому что ему давно хотелось, как он выражался, «дать себе подвиг для родины», а в мирной обстановке случая для подвига не представлялось. Да и какой может быть случай для подвига, когда служишь электромонтером на хорошей железнодорожной станции первоклассной магистрали?

К вечеру сильно похолодало, и все полагали, что земля промерзнет, но земля хлюпала, как и днем. Руки и ноги увязали в слизистой и маслянистой жиже. Ночь была темна, и если б не компас с самосветящимися стрелками, сбились бы с пути непременно.

К рассвету проползли те трудные десять километров, где больше всего водилось немцев. Выползли точно к назначенному месту. Увидали озеро, рыжие камыши и синеватый туман над ними. Справа, в тучах, вставало солнце. Морозов объяснил спутникам, что если итти вправо, так можно обогнуть озеро по болотам и выйти на шоссе, а если влево — дорога будет легче, но тут пойдут деревни, а в деревнях немцы. Его мнение — итти вокруг деревень: и людей встретишь, расспросишь о событиях, о местопребывании полка, и вообще тут и шоссе ближе. Гусев немедленно согласился с ним, а Корольков словно обрадовался возможности поспорить:

— Немец тут нас в деревне и караулит. Разве он в болота полезет? Он там угорит сразу. Мы там из него, коли попадетя, всю душу выжмем. Не-е, надо итти болотом...

Морозова раздражала самоуверенность Королькова, и сержант приказал:

— Итти в направлении деревень.

Сделали несколько шагов. Корольков спросил:

— Ты к своей?

— Чего к своей? — не понял Морозов.

— К своей деревне, что ли, тянешь?

Морозов разозлился.

— А хоть бы и к своей. Ты что, оспариваешь приказание?

— Чего мне оспаривать, я человек болотный, — криво улыбаясь, сказал Корольков. — Я чего понимаю?

Морозов хотел было прикрикнуть, но раньше того он понял, как надо прекратить начинающуюся между ними неприязнь. Он сказал:

— Гарантирую тебе вооружение — автоматы и три десятка немцев в придачу.

Лицо Королькова словно бы качнулось и мгновенно преобразилось. Улыбка загуляла по его губам. Шаг стал торжественнее.

— Вот мы теперь втроем и попразднуем встречу с немцем.

Зашли в деревню. Порожней, неправдоподобно пустой была она. Только в одном доме они нашли мяукающую кошку да в другом застали слепого старика. Корольков опять почувствовал недоверие к сержанту и сказал:

— Вот тебе и обворужение. Нет, надо было итти болотом.

Морозов спросил у старика:

— Немцы есть?

— Были вчера, а нонче как будто их здесь нету. Да ведь я слепой.

Выходя из лачужки, Морозов обернулся к старику:

— А про село Крицы, дед, не слыхал?

— Село Крицы будет через три деревни. Как минуешь Осьмушкино да пройдешь Доезжалово, попадет тебе такая роща, сынок...

— Я спрашиваю, как у них там положенис?

— Положенье что ж? Положенье у всех такое, что лучше в гроб. В Осьмушкине осталось шесть дворов, в Доезжалове три, а в Крицах, небось, и одного нету.

Отправились в Осьмушкино. Неподалеку от села завернули в хуторок. Пожилая беременная женщина высунулась из окна и крикнула им:

— Чего ходите? Немцы ездят как раз по этой дороге.

— Мимо хутора? — спросил обрадованно Корольков.

— То-то что и есть — мимо хутора. Заходите покушать.

Морозов сказал:

— Не, нам вооруженье требуется. Мы всё нашим оставили, а теперь видим — без вооруженья скучно.

— Да заходите ж.

Зашли. Женщина угостила их кашей, показала троих ребят, сидевших в погребе. Была она тревожна, — боялась за детей и за двух коров, из-за которых не покинула хуторка.. От всех этих волнений она даже пива своей варки налила им по большой кружке.

— Порежут немцы. И коров моих порежут, и детей. Куда мне деваться? Они все время завертывают ко мне, да днем, вишь, торопятся.. а как ночь придет, порежут.

— Чего им не порезать, — сказал Корольков спокойно, — у них на нас жалости нету. Товарищ сержант, — обратился он к Морозову, — здесь бой принимаем али на дороге?

— Ишь ты, не терпится! — воскликнула в страхе пожилая женщина, а Морозов, утешая ее, сказал:

— Отправились.

И пошли они дальше.

Миновали стороной Осьмушкино, от которого осталось действительно несколько изб, и вышли на широкий проселок, окаймленный березами, чисто вымытыми дождем.

По дороге в тощей повозке ехал еще более тощий старик, понукая серую и маленькую лошаденку. Попросили старика, чтобы подвез.

— А садитесь, — сказал вяло старик, — мне что.

И разговориться не успели, — видят: навстречу три повозки, и в них битком набито немцами.

— Хорошая встреча! — воскликнул Корольков.

— Кабы свободны мы были, — сказал Морозов, — а то ухлопают, кому знамя достанется?

— Еще посмотрим, кого кто ухлопает.

Между тем старик, видимо, привыкший уже к боям, поспешно свернул в березы. Немецкие повозки тоже остановились. Морозов решил, что единственный выход — брать немцев на азарт. Сержант, с винтовкой наперевес, бросился вперед, крича:

— Взвод, за мной! Сдавайся, немец!

Несколько немцев, видимо, из тех, что знали русский язык, бросились бежать, но человек восемь залегли и открыли огонь.

Залег и Морозов.

Выстрелом разбило карабин у Королькова и ранило его в руку. Гусев стал перевязывать приятеля, а Морозов, разозлившись, схватил гранату и встал... Немцы бросились бежать. Морозов — за ними, кидая гранаты. Он бежал за ними метров двести.

Когда он вернулся, Корольков стоял на ногах, прислонившись к березе и придерживая правой рукой разбитую левую. Морозов, чувствуя себя виноватым, сказал:

— Зря мы сюда направились. Надо бы тебя послушать, Корольков.

И тут только он разглядел лицо Королькова. Оно, несмотря на рану, вызванную ею боль и бледность, наполнено было таким торжеством, что Морозов не мог не подивоваться. Корольков сказал:

— Почет событию. Разве мы в болоте могли бы их столько уложить? Пойдем вдоль в честь сына.

И они пошли мимо убитых немцев. Корольков, широко раскрывая рот, считал их громко, а когда увидел пятна крови за последним убитым немцем, пятна, указывающие на бегство раненых, он даже охнул от радости:

— Ну, ребята, большой у меня нынче домашний праздник, в толстый колокол звоню. Не грех бы выпить чарочку простова. — И добавил: — Теперь вы без меня пойдете, а я уж как-нибудь к нашим вернусь. Прости, товарищ сержант, если чем обидел.

— Бог простит, — ответил сержант, и они обнялись.

Корольков повернул к подразделению, а Морозов и Гусев направились лесом дальше, на восток.

К полудню небо, как и вчера, огрузло тучами. На листья посыпался дождь.

То и дело вспоминая подробности схватки, ранение Королькова и его удивительный характер, они лезли

через поваленные и гнилые деревья с облезшей корой, переходили поляны, кочки...

Птицы, без обычной боязни, нехотя поднимались из кустов, понимая, что людям теперь не до охоты.

Поздней ночью они вышли к Доезжалову.

Точнее сказать, Морозов только смутно был уверен, что перед ним Доезжалово. Ночью все села похожи одно на другое, и если на пашне, утомившись, делаешь огрех, обойдешь сохою участок, то где в ночи, в военное время, загрязненному, затоптанному усталостью, правильно определить направление?

Они стояли долго. Мелкий дождь сыпался на них. Хотелось сесть, уснуть.

— Приказывай, товарищ начальник, — решился наконец вымолвить Гусев.

Они осторожно, — насколько можно быть осторожным при таком утомлении, — двинулись вперед в темноте.

Колодец — и колодец вроде бы из доезжаловских...

Приблизились...

Немецкий часовой, не окликнув их даже, пустил очередь из автомата.

Они ответили.

Задребезжали стекла, послышались крики. Выстрелы немцев стихли. Опять шум дождя, едкое безмолвие деревни.

— Что-то немец больно нервный в этих местах, — сказал сержант, неуверенно делая шаг вперед.

— Отопрел. Ему ленинградский климат отсек окорока. Разрешите, товарищ сержант, проверить обстановку.

— Не торопись. Происшествий впереди будет много.

Они шли, переговариваясь шопотом. И вдруг из высокой и словно бы складчатой тьмы услышали вопрос:

— Ктой-та? Наши?

— Ваши, — ответил, радостно смеясь, Морозов. — А ты кто?

— А я Савелий.

— Ну, иди ближе, Савелий.

Совсем маленький, куда ниже Гусева, человек обозначился возле них. Швыряя носом, он ощупал их и сказал весело:

— Двое. А страху-то на немца напустили, как сотня.

— С чего это немец-то у вас такой нервный? — повторил Гусев. — Боятся чего, что ль?

— Бойтся. Бают, на него наша сила идет крупная. Напуск на него предстоит. Вот и есть у нас предложение осветить путь.

— Какое село? — спросил Морозов.

— Село наше Доезжалово, а здесь, в сараях, пшеница. Немцы грузовики, вишь, подали. Хотят увезти. А наше предложение такое: сжечь ту пшеницу до тла, пока немцы не вернулись.

— И село ваше спалят до тла, дядя Савелий.

— А пускай палят. Все равно, рано ли, поздно ли, сгорим. Но, поскольку мы во множестве...

— Давай жечь! — воскликнул торопливо Гусев. — Давай-давай, дядя Савелий!

Морозов подумал-подумал и приказал сжечь.

Из брошенных грузовиков добыли бензин, мальчики, нивесть откуда вынырнувшие, притащили солому и доски. Склад обложили, и Морозов поднес спичку. Несмотря на дождь, пламя принялось дружно.

— Ну и денек, — сказал, широко зевая, Морозов.

— Не так брюхо набили, как голову, — отозвался Гусев все тем же торопливым и пустомельным языком. — Не знаю, как ты и донесешь свое порученье, товарищ сержант, если такое каждый день.

— Донесем. Дядя Савелий, а если нам до приезда немца соснуть? У тебя не найдется такого скрытного места?

Дядя Савелий сказал, что такое место найдется, и они пошли, причем Гусев все время раздражал Морозова, так что он даже подумал: «И чего привязался, как грыжа?» Гусев все спрашивал: сумеет ли один дойти Морозов, легкий ли дальше путь и найдутся ли провожатые? Морозов хотел спросить: «Да что ты, струсил? Вернуться или спрятаться где-нибудь хочешь?», но, объясняя пустую болтовню Гусева невероятной усталостью и большими событиями дня, промолчал.

Легли. Сон пузырем надул глаза, и заснули они мгновенно.

А утром оказалось, что Гусев заснул тем сном, от которого не пробуждаются.

Раненный в живот навывлет, он напряг все силы, чтобы дойти до погребца.

Морозов скорбно глядел в неподвижное маленькое лицо Гусева и спрашивал себя: «Так ли я поступал?»

Верно ли? Туда ли я их вел? И сам туда ли иду? И дойду ли?» И он отвечал себе: «Должен дойти. А что смерть? Придет и мой раз, да не в этот раз».

Он шел теперь один.

Когда он чувствовал, что дальше идти не может, он забирался под ель и, прикрывшись бархатными ее ветвями, закрывал глаза, прислонившись спиной к стволу. Ему было тяжело и хотелось плакать, и во сне он плакал с ревом, как можно плакать только в детстве. И, проснувшись, он чувствовал благодетельную перемену состояния.

Он выходил на тропинку и устремлялся дальше.

И наконец он вышел.

Пологий холм спускался к реке, которая обозначала свой поворот многочисленной ольхой. Между соснами, где стоял Морозов, и ольховником простиралось поле плохо выкопанной картошки. У ног Морозова лежала канава, наполненная до краев водой; у канавы низкий межевой столбик с цифрами «325». Морозов пошел от столбика, повторяя про себя: «Триста двадцать пять...» Но едва ли он досчитал до ста, как остановился.

Девушка, торопливо собиравшая картошку в корзину, выпрямилась, чтобы передохнуть.

— Надя?! Надя!

Она, прижимая к груди корзину, бросилась к Морозову:

— Вася? Откуда?

— А оттуда, откуда и все, — ответил он. — Да пойдемте в сосны: за мной, кажись, гонятся.

Он взглянул на мелкую картошку и опомнился:

— Не надо в сосны. Идите собирайте картошку.

— Вася!

— И дотрагиваться не надо. Они с собаками, кажись, ищут. Еще собака унюхает. Один вопрос. Как мой?

— Живы. — Она указала на картошку: — Для них.

— Сожгли?

— В поле живем, в землянке...

— Видел, что сожгли. Я шел... мимо...

— Разбили вас, Вася?

— Досада немца заложет, что они нас не разбили. Оба мои здоровы?

— Отцу получше, а Саша здорова. Поправится отец, мы пойдем.

— Адрес мой прежний, на тот же полк. Пишите. До свидания.

Сосны закрыли его.

Девушка вспомнила его костистое лицо, широкие и в то же время наполненные какой-то странной, слепой недоверчивостью глаза, вспомнила, что давно собиралась напомнить ему или, того лучше, лично сказать многое, в чем признавалась его сестре; сказать, что восхищается им... Девушка догнала его, когда он, сутулясь, переходил лесную дорогу.

Она положила ему руки на плечи.

— Вот так, — сказала она. — Мы стояли рядом. Теперь для каждой овчарки ясно, — у нас один след.

— Зачем?

— Так нужно. Вы домой?

— Нет. Я шел мимо, Надя.

— Вася, вы шли домой. Я верю, что ваш полк не разбили. Тогда вам дали отпуск.

— В военное-то время?

— Ну, вы исполняли какое-то поручение и выкроили день, чтобы навестить родных?..

На лице его показалось мучительное сомнение. Он сомневался в ней. Да. Она не могла ошибиться. Но почему сомневается? И кто он теперь такой?

Она испуганно заглянула ему в глаза.

— Вася. Вам не надо зайти домой? Разве вам не разрешено?

Он подумал и сказал:

— Разрешено.

— Идите. Вы отдохнете день, другой... — И она спросила прямо: — Чего вы опасаетесь?

— За мной гонятся... с собаками. Я овчарок наведу на отца, сестру... на вас.

— Ну, мы скажем — за грибами ходили, спрячем вас, Вася.

— Меня нельзя спрятать, — сказал он, упрямо качая головой. — Я шел к отцу... верно. А теперь... не пойду.

— Да чего такое?

— С собаками... опасаясь...

— Вы мне доверяете или нет?

Он схватил ее за руку и поволок за собой в чашу.

Под ноги подвертывались стволы, чавкало болото, затем — мох, какая-то яма... Он толкнул ее туда... Тогда только она расслышала собачий лай, свистки, и ей даже почудился топот. Яма была узкая. Их плечи и туловища сблизились, и, несмотря на то, что они всем своим телом ловили звуки в лесу, они чувствовали теплоту, исходящую друг от друга.

Теплота эта, медленная, медовая, вязкая, мало-по-малу уносила с собой ту смуту, которая перед тем наполнила их тела. Они уже не с такой страстностью прислушивались к звукам погони. Им казалось даже, что звуки эти утихли, ушли в сторону...

Их теперь, пожалуй, больше беспокоила та внезапная перемена отношений, которая произошла сейчас в них. Они испытывали друг к другу высшую степень симпатии. Щурясь, они глядели на струйки света, пробивавшиеся в яму сквозь хворост, прикрывавший ее, ощущали запах мокрого мха на дне ямы. А еще приятнее сознавать, что не только ему одному радостно соседство другого, но и этот другой полон радости.

Шум леса исчезал перед шумом их сердец.

Они с удивлением глядели в глаза друг другу. Они чувствовали, что вот сейчас, с этой минуты, они навсегда принадлежат друг другу и могут, как желают, распорядиться друг другом. Разве не поразительно и мощно подобное чувство, а в особенности для тех, кто впервые испытывает его?

В такой сладкой и поневоле беспечной неподвижности они сидели долго, пока над лесом не пронесся порыв ветра, указывающий на приближение сумерек. Преследователи не нашли следов Морозова. Дождь стер их.

Они вышли из ямы, движениями рук и ног выгоняя из мышц и сухожилий ломоту от неподвижного сиденья.

— Как бы тебе, Вася, не простудиться, — сказала она с заботливостью совсем близкого человека. — Да ты и голоден, небось. Пойдем, покушаем. Мы вчера отца твоего побаловали: пирог из картошки испекли, еще остался...

— Пирог — это хорошо, — сказал он, счастливо смеясь и держа ее руки в своих. — Ух, Надя, давно я пирогов не пробовал.

Он приблизил ее руки к своим щекам и сказал, поглаживая ими лицо:

— Так, значит, проживем вместе?

— Проживем, Вася.

Тут он опустил ее руки, а своими схватился за грудь. Лицо его исказилось, словно он вложил в грудь раскаленный камень.

— Ты что, Вася, болен?

— Здоров.

— А грудь?

— И грудь... ничего. — Он наклонился к ее лицу, так как был выше ее. — Ты, Надя, иди... А я... тоже пойду.

— Куда? — Она теперь уже не выражала недоумения, а сердилась: — Куда ты пойдешь? Тебе надо увидеть отца, сестру. У тебя что, задание есть какое?

На лице его опять мелькнуло сомнение.

Она повторила вопрос.

— Да, — ответил он.

— Так что же такое? — спросила она.

И виновато он ответил:

— Не могу сказать точно...

— Чего ты боишься, Василий?

Он опять подумал и ответил многозначительно:

— Заснуть.

— Ну и что же? Если опасность — разбудим.

— Боюсь заснуть... — повторил он, и ей показалось, что в ответе этом есть что-то такое, что ей не уловить, и это раздражало ее.

— Боишься проспать. Что? — И она сказала решительно: — Тогда идем вместе...

Он покачал головой.

— Почему нельзя?

— Нельзя.

Она всплеснула руками:

— Господи, Василий... Я хочу, чтоб ты мне сказал...

— А я и сказал...

Она взглянула ему в глаза и поняла, что он действительно сказал все, что мог.

Она опустила руки древним крестьянским жестом, выражавшим отчаяние.

— Ну, что ж... иди, Василий. — И уже тихо, вслед, про себя, добавила: — Немного пожито, а все прожито.

Он увидел на небольшом пригорочке трех немцев. Старший из них был, по видимости, офицер. Ему захо-

телось приманить офицера. Он издал приглушенный крик, который, по его мнению, должен был походить на немецкий.

Офицер поднял бинокль и, осторожно шагая по росистой траве, пошел вперед. Морозов подумал, что здесь бы у него с Корольковым непременно получился спор: кому бить первому?

Корольков считал себя снайпером, но и Морозов был стрелком не последним. Морозов сказал бы, что он бьет за унижение своей невесты, которую вынужден был оставить, даже не открывшись ей — из осторожности, — куда он идет и что он несет. Он бьет за своего отца и сестру, которые, покинув сожженную немцами деревню, живут, как звери, в земляной норе, а, к тому же, отец болен ревматизмом. Он не зашел к отцу проститься, так как не знал, кто там вокруг. Он должен, должен во что бы то ни стало, как давший слово, донести знамя... На все это Корольков ответил бы, что да, мысли у сержанта правильные, но у него, Королькова, немцы убили сына, и он, так сказать, вместе со своим сыном обязан стрелять первым, и он никак не уступит своего права сержанту потому, что сержант бьет хорошо, но он, Корольков, лучший снайпер роты... И тут спор и прекратит Гусев, который просто предложит ударить всем вместе.

Так вот, Морозов ударил за всех вместе!

Офицер упал мгновенно.

Упал, взмахнув руками в предсмертном немецком вопле, но дивное дело, — упавши, ползет все-таки к своим, которые залегли.

Морозов ударил еще.

Офицер вздрогнул, — но ползет.

Морозов еще выстрелил.

Офицер ползет.

— Ага, тебе хочется уползти, немецкая шкура!

Еще.

Он бил по ползущему до тех пор, пока чуть ли не все патроны высадил. Наконец опомнился и притаился.

Немцы подняли головы. Он — в эти головы.

Метил хорошо парень: навсегда высунулись немцы.

Когда Морозов подбежал к трупу офицера, то оказалось, что он весь продырявлен. Морозов присмотрелся. От пояса офицера к солдатам тянулась длинная веревка. Немцы, выходит, шли по кочкам связавшись, как ходят

по ледникам альпинисты. И, значит, когда офицер упал, солдаты тащили его к себе, мертвого...

— У-ух, ты. Приказаний ждали. От мертвого?

Морозов протяжно и размышляюще вздохнул.

— Как сон. Что-то позавоевался я. Этак, того гляди, и к нашим не дойдешь. Надо осторожней, Морозов. — И добавил: — Ну, я волнуюсь—ясно, с чего. А немец,— узнать бы... — с чего это волнуется? Веревкой, вишь, связывается.

Ему суждено было узнать, отчего так нервничали и волновались немцы!

Но прежде того он долго крался среди опасностей и страхов много километров, все время испытывая тягчайшую и мучительнейшую усталость.

Он пробирался в обход неприятеля по глухой, презлой и пречерной чаще леса. Каждый шаг — это значит — преодолевай либо топь, либо вязкий гнилой валяжник, либо сплетенные острые травы.

...Он шел, как тысячу лет назад шли его пращурь, обходя стан печенегов, или как сотни лет назад, обходя стан татарский...

Каждое мгновение, словно петлей, задерживало его ноги, но он шел. Немцы, вооруженные пулеметами и автоматами, патрулировали все шоссеиные и проселочные дороги.

Он не знал, — в отдалении находится его полк или идет где-то близко...

Временами его знобило, трясло. В особенности мучителен был озноб под утро, когда сырость наполняла все вокруг. Он прыгал, стараясь согреться, потому что сумрак еще не позволял итти.

И тогда-то находило самое страшное. Ему хотелось закрыть глаза и лечь, чтобы совсем не вставать. Наступит тот сладостный и длинный покой, какого никому не доводилось встречать. Думаешь — не наступит? Уверяю вас, товарищ сержант, что наступит.

Сон, сон, сон... Вот сейчас-то, как только появится солнце, снизойдет к тебе и сон. Мягкий, длинный, похожий на теплое течение широкой летней реки, синей-пресиней. Она понесет тебя без плеска вдоль отмелей с мелким и сухим песком.

«Днем надо спать, а итти ночью...» — шептал ему по-

лусонный бред. «Нет. Сейчас надо итти. Днем. И всегда итти!..» — «Но ведь ночь невыносимо холодна, и, в сущности, ты, сержант, не спал уже...» — «Нет! Я спал. А если засну сейчас, днем, я уже никогда не проснусь. Меня найдут немцы...» — «Ты боишься смерти? Вздор! Ты ее никогда не боялся».

И он говорил сам себе, почти в бреду, во весь голос: — Мне приказано не умирать. Нельзя мне умирать! Ни в коем случае... И спать нельзя! Надо итти.

Нельзя!

И он стискивал зубы, раскрывая глаза с усилием, как раскрывают ворота весной, когда тяжелый и темный снег еще не превратился в лужи.

Ему нельзя умирать!

Это он повторял ежеминутно.

Усталость шептала ему, что весь путь его наполнен случайностями. Случайно он встретил невесту. Случайно вышел и к селу Доезжалову и к своему колхозу. Случайно встретились немцы. И случайно убили Гусева. Случайно ранили Королькова. Так же случайно могут ранить и даже убить его...

Нет, его не убьют.

Ему нельзя умирать!

Он ощупывал знамя на груди и, шатаясь, почти падая, шел дальше.

Когда ему нехватало сил, он шел, опираясь на стволы сосен, от одной сосны к другой. Кора их была разная, то шершавая, то гладкая. Множество хрупких, часто меняющих форму теней, — голубых, розовых, — скользило у него под ногами. Что это такое? Почему?

Ему нельзя умирать. Ни в коем случае.

И он шел, падая, вставая, волоча за собой автомат, патроны, сумку с остатками пищи. Нельзя!

Иногда из густого леса он выходил на поляну, наполненную сильным светом. Он останавливался, протирал глаза. «Отдохнуть?» Но сейчас же, вспомнив о немцах и о знамени, которое он должен донести, шел дальше.

Он встретил несколько человек. Трое из них были солдаты.

Его вид ужаснул их, и они точно ответили на все его вопросы. Они указали ему, где, как им кажется, стоит 84-й.

И тогда он опять пошел вперед.

Его уже меньше мучили мысли, рыхлые, как прах, который ветер поднимает и опускает, творя сухой и едкий туман...

Нет, он поступил правильно!

Тяжело, но правильно!

Прошел мимо отца, невесты, сестренки...

Кто знает, — расчувствовавшись, — разве он не мог им сказать, куда и что он несет? Мог. Он любил прихвастнуть, как и многие из нас.

Тяжело, но иначе нельзя!

Да и наконец, разве это не в их интересах? Разве им было б слаще, если бы его арестовали немцы, нашли бы знамя?! Родных его повесили бы тоже!

И он старался придумать для Нади то, что не успел сказать, что утешило б ее: произведен, мол, в капитаны и несу устное важное сообщение в штаб! И боюсь забыть от силы и жара твоего присутствия.

Он падал, вставал, опять падал, полз — и уже теперь не по километру, а только по метру в час двигался он вперед!

Он падал чаще и чаще. Впрочем, ему не казалось, что он падает, просто шаги несколько неуверенны, да оно и понятно: в него стреляют, его уже ранили в правый бок, контузили в плечо...

Нет, ни в коем случае ему нельзя умирать. Таков приказ.

И он выполнит его во что бы то ни стало.

Главные силы полка, пробиваясь к рубежу, намеченному приказом, вели бой.

Бой был тяжелый. Артиллерия выдалбливала проход в немецкой обороне. Полк устремлялся туда, но немецкий огонь был так силен, что полк ложился. Так повторялось несколько раз. И несколько раз приходил в ярость командир полка, хотя он и понимал, что перед таким огнем нельзя не лечь. Чорт, и тот лег бы перед таким огнем!

Командиру полка доложили, что из подразделения лейтенанта Потапова пришел старший сержант Морозов.

— Привести сержанта!

И его привели.

Он стоял перед командиром, весь покрытый пылью и запекшейся кровью. Одна рука его была неумело перевязана. Голова его тряслась, глаза слипались...

— В чем дело? — спросил командир.

Морозов доложил:

— Боевое знамя полка находится при мне, товарищ подполковник. Приказ выполнен.

Командир от изумления отступил на шаг, вглядываясь в этого измученного, еще стоящего на ногах солдата. Командиру даже показалось, что солдат бредит: такие у него воспаленные глаза и дрожащие губы...

Командир приказал:

— Развернуть знамя!

И старший сержант Морозов дрожащими руками стал развешивать знамя, побуревшее от его пота, потемневшее от его крови, пробитое пулями, которые одновременно пробили и его тело.

— Древо! — приказал командир. — Подать древо!

Появилось древо.

И тогда, не обращая внимания на усталость сержанта, — да и он сам не обращал на нее внимания, — подполковник приказал ему поднять развернутое знамя и пойти вперед. И сообщить об этом всему полку.

Сообщили.

Старший сержант Морозов шел.

Ветер колыхал знамя.

Ветер был чуть заметный, но Морозову казалось, что ветер разрывает его на части. Тем не менее Морозов шел.

И полк шел вперед.

Шел, не обращая внимания на огонь немцев, шел, готовый взять любые препятствия, шел отчаянно.

Шел и брал танки и орудия. Шел так, что командир армии, узнав о подвиге 84-го пехотного, сказал, прикрывая шуткой свою радость (он был очень сдержан):

— Что-то нынче немецкие гости уезжают спозаранку!

И вот старший сержант Морозов стоит на холме, таком знакомом, покрытом кочками, которые все еще кажутся твердыми, словно закремневшими. Перед ним расстилается полосатое кочковатое холмовье, и низкие тучи, словно приняв на себя зарок итти только на этой высоте, несутся над лесом. Как будто ничто не изменилось. Даже древо от знамени, воткнутое лейтенантом, стоит попрежнему.

Нет, не попрежнему.

Нет лейтенанта Потапова. Нет его подразделения. Усыпав бесчисленными трупами немцев и остовами танков все холмовье, подразделение лейтенанта до последней капли крови стойко защищало дальние подступы к городу Ленина, защищало честь своего полка.

Полк выстроился по холму и под холмом, и по всему кочковатому холмовью и отдает честь героям.

И у знамени, которое держит старший сержант Морозов, стоит подполковник, и говорит пламенную речь в честь погибших героев.

Стоит Морозов и глядит вдаль, за лес. Там находится землянка, где его ждут отец, сестра и, может быть, невеста. Да, ждут непременно! Теперь туда можно пойти и рассказать, как и почему это случилось, что он не зашел домой, а свернул в лес и тем самым обидел отца, сестру, невесту. Но они люди и притом наши люди. Они поймут, если разъяснить им. А может быть, даже и сами догадались раньше того... Они ведь понимают, что природа войны строго запрещает слабодушие, и тем более, если ты стоишь у знамени...

Он смотрел вверх, на лесные вершины, над которыми стремились тучи. Туда, вперед, надо идти теперь, вперед. Ведь он теперь узнал, почему немцы нервничали и даже связывались веревочкой, как альпинисты, когда шли по ленинградским кочкам. Они узнали, что русские перешли в наступление, о-ого!..

Сердце его ныло. Он мог хоть сейчас отрапортовать, что дойдет туда, куда нужно. Он знал это. Но его сердце ныло оттого, что ему хотелось наступать немедленно, сейчас. Он ждал приказа.

— Слушай, полк!.. — раздался знакомый, уже подлинно ратный голос командира.

И сердце у старшего сержанта Морозова перестало ныть.

Оно услышало приказ.

Полку, под славным его знаменем, приказывалось продолжать наступление,



ГЕНЕРАЛ ОРЛЕНКО И ЕГО НАРОД

Зима 1942-го. Гостиница, длинное белое уютное московское здание. В одном из номеров живет украинский поэт, талантливый, мечтательный, страстно влюбленный в свою родину. В эти дни испытаний особенно остро понимаешь и чувствуешь эту любовь: я часто прихожу к поэту.

Снега нынче глубоки, душисты и трепетно-игольчатые. Приходишь со снега, с мороза в узкую комнату поэта, — и все равно просторы и снега не покидают вас, и оттого жизнь кажется еще более, чем всегда, просторной, снежной, поэтично-звонкой. Овеянных снегами и поэзией битвы за Отечество вижу я здесь людей: ленинградцев, сталинградцев, мурманцев, украинцев. И среди них я встретил генерала Орленко.

Входит несколько человек, очень разговорчивых, то-ропливых. Горючая, вещая правда звучит в их словах. На шапках у них — красные ленты. Это украинские партизаны. А этот приземистый, с непреоборимо-властными глазами — их предводитель, генерал Орленко. Ныне он Указом Правительства произведен в генералы, а тогда, зимой, когда я его встретил, гщетно искали бы вы его имя в списках людей, коим присвоено генеральское звание.

Генерал Орленко!

ГЕНЕРАЛ ОРЛЕНКО

Это имя родилось в лесах и степях Украины, среди сел, где, защищаясь от партизан генерала Орленко, сидят в окопах окоченелые от страха немцы, среди оврагов, куда бегут от шоссе, спасаясь от партизанских пуль,

испуганные венгры и прочие грабители, разоряющие чудесную украинскую землю.

Это имя украинского орла присвоено одному работнику украинской области, оставшемуся на своей земле во время немецкого нашествия. Этот работник до войны специально военным делом не занимался, он был специалистом совсем в другой области, и, тем не менее, украинский народ прозвал его генералом, воплощая в этом звании всю свою любовь к Красной Армии!

Случилось так, что в партизанском отряде генерала Орленко накануне 1942 года появилось радио. До того партизаны никак не могли найти радио, а как искали! Ведь радио значит — связь с Красной Армией, значит — возможность узнать, что творится на фронте. Отряд почти пять месяцев ходил по лесам. Преследуемый немцами, он в течение трех месяцев питался только одной кониной, отбив табун коней у венгров, без соли и хлеба. Немцы в своих листовках писали, что Москва давно взята, что гитлеровские войска стоят за Волгой. Конечно, партизаны не верили этому, но все же куда как хорошо знать правду.

И вот случилось необычайное. В отряде появилось радио и вместе с ним трое партизан. Недавно они составляли более сильный отряд — человек семь, что ли. Теперь остатки этого отряда, разбитого немцами, желали присоединиться к генералу Орленко.

Генерал запер радистов в хату. Приставил караул, чтоб не беспокоили. И сказал: «Не выпущу до тех пор, пока не свяжетесь с товарищем Хрущёвым!» Идут минуты, часы. Новый год все приближается и приближается. Уже из соседних деревень, узнав, что генерал хочет говорить с Хрущёвым, спешат к партизанам селяне. Партизаны приготовили угощение, водку. Этим они хотели сказать, что советские армии целы, что немцев нет в Москве и что радисты найдут товарища Хрущёва.

Теперь представьте засыпанные снегом леса, узкие дороги, немецкие броневики, шныряющие по шоссе, застывшие, звенящие трупы повешенных на столбах, могилы замученных — и горестный стон над Украиной. А в лесу, в хатке, сидят партизаны в ожидании. В соседних хатках партизаны накрывают столы для гостей, и сердца партизан ноют, ноют. Они верят своему генералу, недаром же с боями шли они за ним пять месяцев! Они

любят его приземистую фигуру, острые глаза, черные подстриженные усы и шрам на лбу.

Генерал быстрым шагом ходит вокруг хаты радистов

Поодаль толкуют селяне, напряженно следя за генералом.

— Услышите Хрущёва, гарантирую вам, — говорит твердо генерал. — Ручаюсь своим генеральским званием.

И он улыбается. Вокруг него снега, темносинее украинское небо с волшебными — гоголевскими — звездами. И вокруг него — уверенность и сила.

Часы идут. Осталось несколько минут до нового — 1942 года. Что несет этот год? Какое счастье, какое горе?

Вдруг дверь распахнулась и партизан крикнул с порога:

— Хрущёв у аппарата!

Хата наполнилась народом. У стола стоял сияющий от счастья генерал. Радиоприемник был слабенький, но все же отчетливо был слышен голос Хрущёва, поздравлявшего украинский народ, его партизан и, в частности, отряд генерала Орленко с Новым годом! Советские армии стоят твердо, враг будет разбит...

— Победа будет за нами! — откликаются партизаны.

И глаза их в слезах, когда они слышат опять голос Хрущёва:

— Хай живе радянська Україна!

Селяне, пришедшие послушать Хрущёва, решили остаться у партизан — до победы.

Мы говорим то о Москве, то об Украине, то о Средней Азии, то вдруг о живописи, о кино, театре, то о спутниках, с которыми генерал приехал сюда.

Возле стола, нивесть как попавшего сюда, широкое кресло. Однако двоим в нем уместиться трудно. Но все же уместились. Сидит светловолосый молодой человек и рядом с ним его жена. Она приехала, чтобы повидаться с ним. Он разговаривает со мною. Лицо его задумчиво, нежно. Рука лежит на плече жены, перебирая стеклянные бусы, украшающие ее шею. Он контужен. Голова перевязана бинтом. Зовут его Александр Балабай. Он — бывший учитель, окончил Пединститут им. Гоголя в Нежине. Мы вспоминаем Нежин, — я был там много лет тому назад... И вдруг Орленко перебивает меня:

— А как вы предполагаете, сколько немцев убил этот человек? — И он указывает на Балабая.

Я гляжу на нежное и задумчивое лицо и говорю:

— Такой может и ни одного не убить, а рассердившись, и зараз пять уложит.

— Вот, вот! — обрадованно говорит генерал. — Так он у нас часто сердится. Он убил шестьдесят трех немцев, из них шестнадцать ножом. Понятно? Но-о-жом!

Еще бы не понятно? Я знаю, что такое нож и как трудно воевать с ножом против громадной, вооруженной по последнему слову техники немецкой армии. Нужно быть не только смелым, но и очень хитрым, ловким, изворотливым...

Генерал между тем продолжает:

— Смотрели мы здесь фильм «Секретарь райкома». Вы еще не видели? Советую посмотреть. Интересная картина, хотя, на взгляд партизана, и есть в ней недостатки, в частности то, что маловато молодежи. А у нас ее много. Я, например, самый старший среди всех. А сколько мне лет, по-вашему?

Я вглядываюсь в его лицо. Заботы и горе, конечно, состарили его раньше времени.

— Сорок пять?

— Тридцать восемь! Надо быть выносливым. К тому же нам пришлось питаться кониной в течение трех месяцев. — Он рассмеялся. — Ну, и надоела ж нам эта конина! Наравне с немцами.

Каждый раз, когда он говорит слово «немец», ненависть, как молния, прорезает его лицо.

И сейчас, на мгновение притушив свою ненависть, он продолжает спокойно:

— Что поделаешь, приходилось отступать. Но отступали достойно. Этим летом «фюрер» приказал навести «порядок» на Украине, то есть уничтожить партизан. Для того «порядка» определил, кроме полиции, десять немецких дивизий с самолетами, танками, минометами, орудиями. Из тех десяти на мою долю досталось две. Они так и назывались «дивизиями порядка».

Он положил мне на колено маленькую, но удивительно крепкую руку и сказал:

— Помучили нас те «дивизии порядка», но и мы им пить дали! Кружили мы, кружили по лесам и долам, изматывали немца так, что он задыхаться стал...

Он повернулся к кому-то из военных, сидевших в комнате, и продолжал:

— Вот вы говорите, нельзя командира пускать впереди солдат. И это правильно. Но вот у нас, партизан, был такой случай. Гонят нас немцы, те «дивизии порядка». Так. Приходят ко мне люди из незнакомого отряда. Лица встревоженные. «Что, испугались?» — «А как же, товарищ генерал, — говорят, — мы ведь окружены!» — «Вот дурни. Мы все время окружены. Только иногда теснее, а иногда слабее. Ведь мы в тылу немецкой армии. И тем не менее наши идеи не окружишь!» Вижу — у людей тревога. Устали? Значит, надо учитывать психологическую сторону вопроса. Окружены? Будем прорываться. Как?

Он сказал, глядя военному в лицо:

— Командиры и политработники с автоматами стали впереди. Снег по пояс? Надо дать пример, как можно наступать по такому снегу! Позади поставил рядовых и дал артиллерийский залп. Артиллерия у нас хорошая, снарядов для немецкого изумления не пожалел. Прорвали окружение на два километра и хлынули!.. Но как хлынули! Какое изумление вызвали у немца! С того изумления у нас потери — один убитый и один раненый, — а у немцев, бегло считая, четыреста девяносто трупов. Дивизии ушли. Мы трофеи несколько дней подсчитывали и убирали.

— Были пленные?

— Пленные? Разве «языка» возьмешь, а чаще всего немцы, если видят опасность, предпочитают от нас бежать.

Он вздохнул.

— Много приходится терпеть Украине. Но яростно хлопочет она, и тяжело будет врагу, ох, как будет тяжело немцу! Много поднималось на немца сел и городов, много поднимали мы, — ведь мы, петляя, прошли по Украине свыше трех тысяч километров... Приказали немцы одному селу выбирать полицейских и старосту. Село говорит: «Мы вас не звали и знать вас не хотим». — «Выбирайте!» — «Не будем выбирать!» — «Сожжем село». — «Не будем выбирать». Сожгли немцы село. Сигнали селян. «Выбирайте!» — «Не будем выбирать». Повесили каждого десятого.

Опять сигналы. Опять селяне отказываются. «Детей

побросаем в огонь». — «Мы вас не звали, вы нам не нужны». Побросали немцы в огонь малолетних. Развалили село артиллерией и ушли. Узнали мы о тех зверствах поздно. Когда ворвались в село, увидали только развалины, трупы да дым. Едем и, каюсь, плачем. И вдруг видим, идет по развалинам старуха и что-то в подоле несет. Подходит к нам. «Что такое несете, бабушка?»

Она и говорит: «Побили у меня всех, уцелела я одна на горе. Умереть бы мне, да вот хотела вас встретить, бо слышала, что курите вы дубнячок».

А у нас действительно происходили затруднения с куревом, и курили мы «дубнячок», попросту говоря, дубовые листья. «Да, — говорим, — курим дубнячок, но, извините, какое это имеет отношение?»

Тут старуха и говорит: «А вот поручили мне селяне передать вам табаку, и еще там есть... от немцев сберегли, велели передать... сами селяне-то насмерть полегли, а мне поручили передать вам табак, чтобы не курили вы того пакостного дубняка».

Показывает. Лежит в подоле табак, хороший, желтый, выдержанный. Да в ямах еще был табак, так что надолго нам хватило...

Все присутствующие в комнате, растроганные рассказом, замолчали.

Генерал закурил папиросу, и нам показалось, что она из того желтого табака, который поднесла ему украинская старушка.

Три тысячи километров генерал Орленко со своими сподвижниками прошел по Украине. И чем дальше он шел, тем все крупнее и крупнее становился его отряд. Появились у него уже не пулеметы, а целые батареи, вплоть до тяжелых орудий, появилось у него всё для больших ударов по немцам, а главное — пришла любовь народа, имя, подаренное народом, — Орел.

Однажды партизанам понадобилось смолотить пшеницу. Отправили они пшеницу в село на мельницу. Крестьяне отказались молотить. «Не знаем, мол, кто вы такие...» Сообщают Орленко. Он приезжает в село и созывает селян на собрание. Собрались селяне. Орленко выходит и говорит:

— Я генерал, прозванный Орленко. Вот за мою голову

немцы назначили сто десятин земли по выбору и пятьдесят штук скота и всюду мои фотографии расклеили. А не выдают. Почему? Потому, что мало назначили. В нашей области было три миллиона десятин земли, бюджет у нас был несколько миллиардов, и та область принадлежала и мне, и вам. Так как же менять всю область на немецкую неволю? Кто согласится?

Селяне рассмеялись и говорят: «А чего ж ваши не сказали, что они от генерала Орленко? Мы б помололи». И верно, помололи пшеницу.

Прошло несколько дней.

Опять я встретил генерала Орленко.

В ватной куртке, ватных штанах и валенках, радостный, подтянутый и в то же время очень серьезный, он сказал:

— Ухожу на Украину. Спасибо за гостеприимство. Думаю, что скоро будете иметь возможность приехать на поезде в наши места. Встретимся в большом украинском городе, в большом и хорошем доме. Как-никак, а это уж верное дело, что победа будет за нами!

УЧИТЕЛЬ ИЗ ОТРЯДА ГЕНЕРАЛА ОРЛЕНКО

Его зовут Александр Петрович Балабай. Он украинец. Это русский, выше среднего роста, сдержанный человек с нежным цветом лица, на котором румянец выступает, как пожар. Ему под тридцать. Он был ранен, затем контужен, и генерал Орленко послал его для излечения на «Большую землю», как называют партизаны землю, находящуюся по ту сторону фронта.

И вот он сидит передо мной, глядит на шкапы, заставленные книгами, глядит с любовью, как может глядеть учитель, преподаватель истории и географии. Время от времени нежное лицо его вспыхивает, особенно, когда он рассказывает о рукопашных схватках с немцами; сдержанность покидает его, он встает и в лицах изображает, как происходила схватка.

До войны он был директором средней школы в селе Н. на Украине. Одновременно он преподавал историю и географию. Он очень любил своих учеников, свою школу. Партизанский командир, прозванный ныне народом

«генерал Орленко», занимал тогда в области пост, который имел косвенное отношение и к делу Балабая. Он и предложил Балабаю направиться в Н-скую школу, которая находилась в отсталом состоянии.

До приезда в село Н. Балабай уже в течение десяти лет был преподавателем и директором разных школ. Он принялся рьяно за работу: отремонтировал школу, завел библиотеку, химический и физический кабинеты, устроил неподалеку от школы стадион, по всей территории развесил керосиново-калильные фонари — электричеством село еще не обзавелось. Красота! Выйдет ночью на крыльцо школьного дома Балабай, а на небе — луна, а в ограде огромные, точно луна, горят фонари, а по ту сторону улицы, в кустах, соловей приветствует его и его школу отличнейшим пением. Ну, просто красота!

В квартире Балабая на книжной полке стоит полное собрание сочинений Ленина, затем Иван Франко, Коцюбинский, Мопассан. Любил Балабай читать о войне 1870 года и о 1812 году. Очень любил он Некрасова. С начала войны Балабай ведет дневник. Заметки о партизанском отряде перемежаются стихами, вклеенными цветными открытками и рисунками, вырезанными из журналов. Открытки или фото нецветные Балабай разрисовывает от руки разноцветными карандашами. Много стихов. Авторы не указываются, словно их имена Балабаю не очень интересны, но если стих взят из Некрасова, то Балабай непременно напишет под заглавием стихотворения: «Из Н. Некрасова» и даже подчеркнет это.

Ныне на текущем счету А. П. Балабая, бывшего учителя и директора школы, шестьдесят пять убитых немцев, из которых шестнадцать он заколол собственноручно вот тем самым коротеньким ножом, что в черных ножнах висит за его поясом, будто Балабай с минуты на минуту может уйти опять в поле и лес. Да, так оно и есть. «Поправлюсь, пойду опять к Орленко, — говорит он. — Мне меньше как на трехстах немцев никак останвиться нельзя».

Как же случилось, что скромный учитель, директор, преподаватель истории и географии, Александр Балабай, ныне орденосец, убил шестьдесят пять немцев, да притом еще шестнадцать из них заколол собственноручно?

Брат его отца в гражданскую войну был партизаном. Мальчик Саша с упоением слушал рассказы дяди. Однажды Саша сказал:

— Эх, жалко, что не был я тогда большим.

На что отец мальчика сказал, усмехнувшись:

— Жизнь предстоит длинная. Еще успеем и попартизанить.

Сбылось предсказание отца.

К селу подходили немцы. Учитель проводил свою семью за три километра от села и сказал жене:

— Больше не могу.

Жена рассердилась:

— Всей любви у тебя хватает на три километра?

— Моей любви хватит на всю жизнь, — сказал Балабай. — Но раз я сказал, что останусь в тылу, надо это организовать. Хорошо войну устрою, хорошо и вернусь. Жди меня!..

Обнялись у трех верб и расстались.

Собрал своих учеников из 9-го и 10-го классов, — тех, что учились отлично и были хорошими спортсменами.

— Немцы идут. А вы куда пойдете?

— Будут партизанские отряды — пойдём в них.

— Так вот я и организую партизанский отряд. Я и командир. Пойдем вместе воевать?

— А чего не пойти?

Восемь учеников согласились идти с ним в лес.

Поговорил с учителями:

— Не желает ли кто остаться в тылу действовать?

Согласились двое. Один — преподаватель математики Ищенко Петр Анисимович, человек с высшим образованием — кончил Днепропетровский педагогический институт.

На четвертый день вышли уже из леса на операцию против немцев.

Ехали по неопытности торжественно — медленно, как по воображению казалось, должны наступать партизаны. Впереди — красное знамя.

Но эта-то торжественность наступления, оказывается, и навела панику на немцев: они подумали, что тысячи партизан идут из леса, и убежали из села. Балабай захватил три автомашины, винтовки, убил семь немцев — число, почти равное отряду, — и вернулись в лес. Имущество, награбленное немцами, роздали населению. Идет

Балабай с отрядом через село — выбегают старушки, целуют, ласкают:

— Зайдите, чарочку выпейте, Александр Петрович.

Ученики выскакивают, спрашивают:

— А когда, Александр Петрович, будем класс кончать?

— Не волнуйтесь, окончим. Кто очень взволнован, может ко мне, для успокоения, в отряд поступить. До свиданья. Ждите.

Отряд пополнялся людьми, вооружением, конями. Лучших своих коней колхозники отдали в отряд.

После нескольких удачно проведенных операций Балабай получил задание от партизанского отряда связаться с одним работником в одном селе.

Путь к тому работнику лежал через село, где недавно Балабай был директором школы. Можно было, конечно, и миновать село, но очень уж ему захотелось увидеть любимую школу, свои книги, учебные кабинеты; стал себя и других партизан уговаривать, что у него не хватает картошки, что надо зайти в село Н. непременно.

Подошел к первой с краю хате:

— Немцы есть?

— А, здравствуйте, Александр Петрович! Немцы были, а теперь нету. Картошки не надо ли?

А он и забыл, что пошел за картошкой.

— Нет, спасибо, не хочется.

Встретил на улице старичка, завхоза школы.

— Давайте посмотрим мою квартиру.

— А какая там квартира!

Была в начале 1941 года не школа, — цветочек, а теперь что осталось? Библиотека, физический, химический кабинеты — все либо увезено, либо пожжено. Устроил он в школе комнату отдыха с мягкой мебелью, ученики говорили, бывало: «Уходить, честное слово, Александр Петрович, отсюда не хочется». А теперь?.. Тьфу!..

Смотрит на разорение Балабай, и впервые ему хочется уйти из этой школы поскорее. А старичок-завхоз неторопливо рассказывает, что и все прочее на селе немцы разорили — больницу, клуб, кино, буфет... Прибежала поздороваться одна из учительниц, тоже говорит о разорении. Дрожит Балабай от ненависти. «Ну, — думает, — поквитаюсь я все-таки за все это с немчурой, даю слово учителя».

Только подумал, а тут и случай представился.

Земля уже была мерзлая. Слышит — гул по ней идет. С чего бы это? Учительница побледнела. Завхоз успокаивает:

— Кто-то подводой едет.

Учительница смотрит в окно:

— Какая там подвода! Немцев полно село приехало.

Балабай — к окну. Видит — к зданию подходят три грузовика и одна легковая с офицерами. Останавливаются прямо против дверей. Балабай оглядывается — ни завхоза, ни учительницы в комнате. А ему куда? На чердак? Побежал было на чердак, да вспомнил, что немцы, как только узнают — в хате партизаны, обычно поджигают ту хату и сидят с автоматами вокруг, ждут, не выскочит ли из полымя партизан. Погибать так бесславно?

Балабай решил пробираться напролом. Он вскочил в столовую. Вынул рамч. Ноги вперед. Земля! Опустил туловище на землю. Вот, — говорит самому себе, — спасибо, что дом выстроил одноэтажный... И пополз к сараю.

Местность открытая. Только за сараем бугорок. Ползет... остановится, опять ползет.

И видит — колхозница Марья Батюк машет ему руками: мол, не в ту сторону ползешь! Надо к другому сараю, что служит кладовой для школы. Балабай меняет направление и глядит: немцы идут. Но тут, откуда ни возмись, учительница, та, что к нему прибежала только что. Останавливает немца, заговаривает... Тем временем Балабай уже у кладовой, оторвал доску, — туда! Стоит, ощупывает себя. При нем сумка с отрядными документами. Куда девать все это? При нем карабин, при нем пистолет, — последнюю пулю в себя, конечно, — но документы?

«Нет, не может быть! Надо пробиваться!» — говорит сам себе Балабай и идет к дверям.

А у дверей уже немецкий офицер:

— Хальт!

Балабай ему — раз из пистолета в живот. Тот — брык перед дверьми. Балабай — за сумку, и бежать!

Навстречу — шесть немцев. А у него за пазухой граната. Балабай — гранату в них. Кто poleg навечно, а кто с криком обратно. Балабай перебежал улицу и залег

за липы. Раз, раз, раз! — из карабина. А затем вспомнил литературу — о том, как Чапаев, Щорс, Пархоменко брали врага на панику. Глядит — подальше, за дорогой, колхозники лен выбирают. Разве немец разберет с испугу? Балабай встал, повернулся к тем колхозникам и обычно крикнул:

— Товарищи партизаны, за мной!..

Немцы — из школы!

Балабай полем в лес и в старое русло реки. В поле встретил своих учеников. Спрашивает:

— Ребята, если немцы вас будут спрашивать обо мне, что будете говорить?

— Скажем, ничего не видали.

— Правильно.

Балабай уже в лесу, подсчитывает убитых им немцев, а немцы, отбежав от школы, бьют по воображаемым партизанам из минометов, все сараи, всю школу изрешетили, партизан выбивают. Собрали затем селян, спрашивают:

— Куда скрылись партизаны?

Не только ученики, взрослые даже пар изо рта не пустили, молчат.

...По поводу этого эпизода Балабай замечает:

— На опыте войны вижу, что в основном преподавание у нас поставлено правильно.

Да и точно. Если расширить слово «преподавание» до размеров всей нашей культуры, то пожаловаться нам особенно нельзя. Возьмем того же Александра Балабая. В течение всех его боевых действий с немцами народ активнейше поддерживал его. Ему привозили продукты, коней, к нему приходили люди, ученики собирали сведения о немцах, рисовали плакаты. Идут немцы утром по селу, а на заборах огромные лозунги: «Да здравствуют красные партизаны! Смерть бандиту Гитлеру!»

Тем временем по области четвертый месяц пешком шел человек, которого народ прозвал «генерал Орленко». До войны Орленко не имел прямого отношения к военному делу. Сейчас он вспоминал то, что проходил в армии, вспоминал и применял на деле. Он руководил отрядом, создавал новые.

Немцы уже назначили цену за голову Орленко: 100 десятин земли по выбору, 50 голов скота и 50 тысяч рублей.

А генерал Орленко все шел и шел, только усы и борода у него становились длиннее. На плечах — бушлат, на ногах — красноармейские ботинки, оба на левую ногу.

Идет Орленко через одно село. Навстречу староста, кричит на селян:

— Сукины сыны, не подчиняетесь, разбаловала вас советская власть! Вот коменданту пожалуюсь, выпорет!

Подходит к нему Орленко:

— Что такой сердитый, дядя?

— А ты чего шляешься? Документы!

— Тебе немецкие или советские:

— Документы!

— Пожалуйста. — И вынул из-за пазухи пистолет.

Староста взгляделся в его лицо и сказал:

— Разумею, разумею. Проходите, товарищ Орленко, ваши вон туда в лес пошли.

Немцы большими силами окружили лес, в котором засел в болоте Балабай. Самого Балабая контузило. Холодно. Есть нечего. Питались замерзшей брусникой, корешками. Видит Балабай, что может погибнуть его отряд. Говорит связному:

— Любой ценой надо связаться с отрядом, дойти до самого Орленко. Скачи.

Связной поскакал. За одну ночь он сделал во тьме шестьдесят пять километров, пока не отыскал Орленко.

На другой день к девяти часам утра пришла помощь: сам Орленко с отрядом. Тем же временем получили сведения, что немцы окончательно блокировали лес и болото. Но наступать еще не наступают, а чего-то ждут...

— Пускай ждут, а мы пока разработаем план, — сказал генерал Орленко. — Мы их ждать не будем.

Прошел день, ночь. В пять часов утра отряд атаковал неожиданно село П., где находились главные силы немцев, откуда они думали идти в балабаевский лес.

Нападение было абсолютно неожиданным. Все полетело на воздух — гарнизон, склады с боеприпасами, орудия. Немцы «газовали» из села и с перепугу побили много своих же, шедших к ним на помощь. Сотни легли их.

Балабай добавляет:

— А подобных стычек было очень много. Наш отряд одних крупных боев выдержал семьдесят, а немцев уложил, по скромному счету, пять тысяч сто пятнадцать.

Он краснеет от удовольствия:

— В одном бою, например, моя рота выдержала большой напор. Мы положили тогда сто пятнадцать человек. У меня отечественный автомат. Хорошее оружие! Я в нем уверен. Он ни разу не изменял, в любую погоду бьет, только были б патроны. Идут на нас мадьяры, батальон. Ну, и полицейские. Взял меня азарт. На лыжах, маскировочные халаты, собаки у них, минометы мелом покрашены, звено самолетов шесть дней бомбит наш лес. Ну, как не злиться? Встал я во весь рост и поливаю их из автомата, поливаю. Мне кричат: «Зачем встал?» А я отвечаю: «Учить немца хочу! Пускай поучится, как на нашу землю итти!» И, прямо скажу, в поле — мороз, а мне от злости жарко. Я стою во весь рост и кошу их, кошу. И так, — думаю, — буду косить, пока всех не скошу.

И он встает во весь рост, русский, с нежным лицом, пылающим алым румянцем. И кажется, что перед тобой встала вся молодая, прекрасная, смелая Советская Украина, встала и косит немца, косит и косит, как сорную траву, пока всю не скосит!..

Когда Балабай ранили и он не мог принимать непосредственного участия в операциях, генерал Орленко поручил ему редактировать «Партизанские листки» — боевые летучки партизан. Кроме того, Балабай выпускал листовки — обращения к населению.

— А когда генерал Орленко, — рассказывает Балабай, — отправлял меня на «Большую землю», он мне говорил: «Вы, Балабай, историк, так и подберите все, что касается истории нашего отряда». Я, надо сказать, предчувствовал историю и то, что придется мне встретиться с таким замечательным руководителем, как Орленко. Я со дня организации отряда веду дневник и ношу его всегда вокруг себя тетрадками, как спасательный пояс.

И он показал мне, как носит он под рубашкой дневник.

А мне подумалось, что носит он на груди историю и поэзию нашего народа, его смелость, его мудрость, его победоносное будущее!..



«СЛОВО О ПОЛКУ ВГОРЕВЕ»

Сержант Сергей Животенков, командир орудийного расчета, до войны был преподавателем русского языка в средней школе.

Многим из нас, привыкшим к исполняемому сегодня делу, кажется иногда, что дело, которое мы исполняли до этого, мы любили меньше.

Подобная мысль возникла в голове сержанта Животенкова, и обстоятельства, при которых она возникла, были следующие.

Ранней весной, когда перелески изобиловали снегом, а в поле, под лучами свежего ветреного утра, появились уже цветочки, противотанковый артиллерийский полк, шедший на запад, вдруг поворотил к югу и стал пересекать длинное село, едва ли не самое длинное во всей Смоленщине. Видно, что немцы и жгли-то его, и взрывали, и растаскивали на блиндажи, а оно все стоит и стоит, упрямо поблескивая на солнце своими рыжеватобурными соломенными крышами.

Вот школа. Кирпичное здание ее разрушено наполовину. Нет физического кабинета, библиотеки, общего зала. Но во второй половине, если постараться, можно еще работать.

Начальник связи, далеко высовываясь из «Бантама», подъехал к батарее. Он передал приказание полковника: «Задержаться в селе на полчаса... дальнейшие приказания получите дополнительно!..» И тотчас же замолкли моторы, прекратился грубый лязг тракторных гусениц, — и все услышали легкий шум ветвей, колеблемых весен-

ним ветром, шелестящий шопот ручейков, струящихся из-под снега... Что-то простое, деревенское полилось всем в сердце...

Животенков вспомнил весенние испытания, которые он проводил у себя в школе, там, в Тамбовской области. Они всегда сильно волновали его. Ведь узнаешь, что тебе удалось сделать за зиму!..

Дверь в здание школы открыта, вернее, сорвана с петель. Он вошел. Во втором этаже слышались голоса. Он поднялся по лестнице, на которой лежали груды затвердевшего синеватого снега.

Несколько мальчиков усердно рылись в большом ворохе чего-то рыхлого, пепельно-серого. Несмотря на весенний ветер, шатавший разбитые рамы, кислый и прогорклый запах заполнял комнату. Мальчики услышали характерный стук солдатских сапог, но голов не подняли. Население у фронта всячески старается удалить войну из памяти...

— Учебники ищете? — спросил сержант.

— На курево! — ответил мальчик постарше, не догадываясь, что перед ним учитель. — Научились, хватит... — И он добавил изощреннейшее ругательство: плод войны.

— Эвон немцы как постарались, — сказал второй, уродливо кривя лицо, — луну-звезды скорее найдешь тут, а не книгу!

Протухлый, отвратительный запах в комнате, тощие лица детей цвета ржаного хлеба, их хриплые голоса, все это в душе сержанта подняло высокую волну простого и безыскусственного сострадания.

Тоном опытного учителя он сказал:

— Будет врать, ребята. Вы давно не учились, и понятно, что скучаете по книге. Где ваши учителя? Та-ак... Выходит что же? Двоих, вроде, убили в партизанах, третья ушла с нашей армией. Печальное дело, но не унывайте. Мы пришли и отсюда уже не уйдем. А пока... — Он посмотрел на часы. — Семь утра. Так вот, ровно через три дня, в семь утра, я даю вам урок русского языка. Понятно?.. Полк? Ну, будет ли здесь стоять мой полк или уйдет, — это вас не касается, поскольку военная тайна. А я лично приду. Урок будет по теме — героический эпос: «Слово о полку Игореве».

Животенков превосходно изучил особенности войны, разбираясь в них с легкостью, как в падежах. Например,

по двум-трем фразам, брошенным начальником связи с «Бантама», Животенков понял, что полк простоит в селе не полчаса, а добрую неделю. Но сколько сержант ни был догадлив и наблюдателен, он не мог, разумеется, узнать намерения немцев. А эти намерения проявились часа два спустя после того, как он, вкатив орудие под навес, лег отдохнуть в избе на соломе, которую уже успел расстелить «второй номер»...

Командир батареи скомандовал выступление, и Животенков опять зашагал по ржавой, угрюмой, неподатливой грязи. «Вот тебе и догадлив! — думал он с досадой. — Вот тебе и урок!» Собой он был крепок, широкогруд, с дюжими щеками, работал споро, окапывался, например, в полминуты, но вот окапываться мыслями куда трудней!

Орудие сержанта Животенкова установили в леске, в полтораста метрах от деревни Большое Кропотово. Впрочем, — какая там деревня?! Три отвратительных трубы, уцелевших ненароком, да отвратительно разрытые погреба, где немцы искали не то припрятанные крестьянские пожитки, не то картофель. От деревни несло дымом. Изредка налетающий дождичек омывал темные сучья деревьев... Тоска!

К вечеру из-за деревни показалось два танка и за ними несколько грузовиков. Немцы. Еще бы не немцы! Сержант подпустил танки меньше чем на сто метров и приказал открыть огонь по грузовикам. Он хотел разрушенными машинами закрыть дорогу танкам, которые пожелали бы отступить. Дело в том, что по обеим сторонам проселка были крутые песчаные балки... Расчет получился и хороший и нехороший. Грузовики перекувырнулись, загорелись, началась паника... но вот танки он не успел подбить, и те прямой наводкой начали обстреливать его орудие. Поблизости разорвался снаряд, попал осколок в замок. От соседнего орудия, спасибо, послали артиллерийского мастера. Он сообщил, что с левого фланга приближается еще полтора десятка танков...

Горячее произошло дело!

Словно подчиняясь какому-то непреодолимому валу, который их гнал сюда, на двух линиях проселочной дороги, в районе Большого Кропотова, появились и шли на батарею то тяжелые, то легкие танки. За три дня, в течение которых билась с ними батарея, их вышло сюда не менее пятидесяти. Батарея подбила и сожгла один-

надцать, а орудие сержанта Животенкова, — заклинившийся в замок осколок давно изъяли, — уничтожило не менее трех! Черный дым шел из машин, из аварийных люков выскакивали немецкие экипажи... Они не бежали, — они ползли к орудиям, бросали гранаты, обстреливали батареи из автоматов. Горячее, повторяю, было дело. Убило наводчика, тяжело ранило «второй номер», связисту батареи пробило голову... Дым. Огонь. Дым. Огонь. И не разберешь, — где день, где ночь!

Ночи стояли холодные, длинные, темные. Надо подносить снаряды, надо покормить расчет, а тут отовсюду — смерть, холодный дождь и под промокшими ногами бесчисленные обнажившиеся корни деревьев. Из жерла вылетают пылающие красным трассирующие болванки, — и странно чувствовать, что тебе нестерпимо зябко, а рядом летит столько пепла!

И как медленно прибывает вода в реке от тающего весной снега, так и мысли прибывали и прибывали в голове Животенкова. Да, холодно, тяжело, иную минуту просто хочется заплакать от боли и страданий, от голода и жажды сна, но почему же все это, совершающееся вокруг, нравится ему и вызывает в душе непрестанное стремление стрелять, уничтожать танки, искать их, тщательнейше замаскированные, самому маскироваться, менять позиции, выкатывать орудие, заряжать его — и стрелять, стрелять, стрелять?!

Что это такое? Как это назвать? Кто, как привил ему это, что пылает внутри него ярче трассирующего снаряда, что гонит его к непрерывной деятельности, что не дает заснуть, что делает его годным на все, смотря по требованиям командира и нечаяностям, неизбежным в военной обстановке?

Вторые сутки. Уже сон то и дело машет крыльями над глазами, а он: «Прицел сколько? Шестнадцать! Перелет! Уменьшить на два деления! Правильно!» И чего ж тут неправильно, когда танк начинает метаться, как уклейка, выброшенная рыбаком на траву!

Третьи сутки. Немцы подвозят в кустарники орудия, повидимому, самоходные. Крадутся пехотинцы... «Ребята, прикрываем железную дорогу Ржев—Вязьма, понятно?» Летят кумачевые искры, стальные болванки впиваются в глубокий снег. Снег, издали слышно, шипит, и пар

поднимается над кустарниками... А сон распускает над глазами что-то пленительное... ух!.. уснуть бы!.

Животенков выпрямляется, трет снегом лицо и старается думать о чем-нибудь постороннем. Но — мысль одна: любишь все это, битва нравится, а то, прошлое, не любил. Или любил, но куда меньше. Значит, вернешься к учительскому столу, и станет тебе скучно...

Уже приближается исход третьих суток, когда должен он пойти в школу и рассказать детям, усталым от войны, о князе — отважном Игоре.

Стоит сержант на опушке леса. Перед ним поле, — широкое русское поле. Еще не совсем стаяли снега, но много уже видно темной, напитанной водой, земли, а кое-где уже ползет травка. На эту травку смотришь пристально, и кажется, что она двигается на снег, и зеленые лучи рассеиваются по нему...

Была ранняя весна. Солнце сияло нестерпимо. Князь Игорь выехал на опушку леса. Он приподнял красный свой щит и, заслонившись им от солнца, глядел вперед, туда, где за русскими холмами простирались степи половецкие. Пальцы его сжимают серебряное копьё, которое сверкает на солнце, как те сосульки, что свисают ранней весной с крыш. На сердце его и холодно, и светло. Ух, далеки и опасны дороги! Страшна и угрюма земля половецкая! Опасен и коварен враг! Но что поделаешь, — земля русская зовет, и надо не гнушаться битвы, а о тех, кто гнушается, — думать мерзко. Вперед, друзья, вперед, за землю русскую, за русскую волю, за весну русскую. «Здрави князи и дружина, поборая за христиан на поганые полки! Князем слава и дружине. Аминь».

...Хотя Животенкова и контузило слегка в плечо, он, тем не менее, помог вкатить орудие под тот же навес. И попрежнему, с той и другой стороны орудия, валялась помятая мокрая солома и те же чистенькие воробьи, слегка распутив крылышки, прыгали по ней. Но в голове сержанта не было прежней ясности. Возбуждение улеглось, и голову наполнял какой-то скрытый и неприятный шум. Пройтись разве по улице села. Может статься, — развеет?

Он сказал, указывая на замок:

— Надо его... чтобы никаких разрывов в металле... Начинайте. Работы тут, — он взглянул на часы, показы-

вающие без четверти семь, — часа на три, начинайте. Я вернусь через сорок пять минут.

— Товарищ сержант, да ведь вы, почесть, трое суток не спали. Мы хоть вздремывали. Вы ложитесь, а мы его подчистим и тоже ляжем. Ложитесь, а то у вас такой сон в глазах, щипцами не вынешь.

— И то, лягу, — сказал сержант, — вы и без меня... невелика хитрость оттереть ржаву.

Сержант шагнул. Но, вместо того чтобы идти в избу, он пошел на улицу. Бойцы объяснили его уход тем, что ему надоело трое суток воздерживаться и он желает выпить перед сном водки. И, позавидовав счастью сержанта, они принялись очищать и залечивать рану, нанесенную орудию.

Тем временем сержант вошел в комнату, где три дня тому назад он дал обещание школьникам.

Они ждали его. Комната была убрана, выметена и даже, кажется, вымыта. Возле окна возвышался стол учителя, табурет, а рядом — классная доска. Правда, все это было расщеплено и кололось, как плавники у рыб, но кто обратит внимание на такую нелепость! Ученики сидели за партами, и их было вполне достаточно, чтобы создавалось впечатление нормального урока.

Учитель положил перед собой записную книжку, в которой были лишь одни пометки о количестве снарядов, им принятых, кроки местности, где разворачивалось оружие, да еще перечисление белья, сданного им в полковую прачечную.

— Все готово, — сказал он, — приступаем. Вам известно, что такое героический эпос и что такое «Слово о полку Игореве». Нет? Забыли? Ну что ж, немцы — одно, учение — другое. Будем восстанавливать знания.

Он начал было объяснять смысл и значение для нас героического эпоса прошлого — славы нашей родины. И опять ему представилось: поле; весенние коричневые, словно подернутые лаком, веточки кустарников, нарастающий снег, кони, звенящие удилами, красные щиты, всадники и впереди них пожилой задумчивый человек — Игорь Святославович, Новгород-Северский князь. Целью его похода...

...Теплая всасывающая струя воздуха опустилась на него. Ему было крайне приятно смотреть на детей, видеть их изменившиеся лица, как бы поглощающие знание, од-

нако под этой теплой струей, льющейся на него откуда-то сверху, он словно осел, стал меньше, углубился во что-то безрассудное... он закрыл глаза и заснул.

Когда он открыл глаза, он даже и не подумал, что спал. Просто сквозь разбитую раму дунул теплый ветер, и сержант на одно мгновение прикрыл веки. Странно только, что ноют локти и затекла кисть руки, к которой, должно быть, он прижал голову, да и ноги свело...

Он строго посмотрел на ребят.

Лица их были попрежнему внимательны и даже, пожалуй, еще более внимательны, чем в начале урока.

— Будем продолжать урок, — сказал он и перед тем, как продолжать, взглянул на часы. Удивительное дело! Часы показывали без десяти десять. Что, он забыл их завести? Но тогда бы они остановились! Он приложил их к уху. Часы шли исправно, как всегда. Он взглянул опять в лица ребят. — Я, кажись, задремал, ребята?

— Нет, нет! — ответили ребята в голос.

Голова его была теперь ясна. Речь текла плавно. И он испытывал редчайшее удовольствие от урока. Оказалось, что он любит то и другое! И войну за отечество, и рассказы ребятам о том, чем жило и чем живет его отечество. Оказалось, что сердце сержанта Животенкова довольно обширного размера и сюда может вместиться многое, — много любви!

Хрестоматии «Русская литература» он, разумеется, не имел, не имели ее и ребята, поэтру, вполне извинительно, что он не так уже точно цитировал подлинник и перевод. Точность он заменил пылом, и ребята вполне удовлетворились этим. После того, как он закончил урок, он спросил их. Они отлично усвоили пройденное и спросили, когда он назначит следующий.

— Скажу по секрету, в ближайшие часы выступаем дальше, на запад, — проговорил сержант, — так что урока от меня вскорости не предвидится. Но мы заложили фундамент, и, будьте уверены, он не распадется. Сколько дней прошло с того момента, как вошла в село советская власть? Пять. А уж был один урок! Так поверьте, что через несколько дней к вам приедут и настоящий учитель, и книги, и писчебумажные принадлежности. До свиданья, ребята!

И все же он возвращался к своему оружию в недоумении. Спал он или не спал? И если спал, то сколько?

Неужели же школьники так страстно хотели учиться, что сидели и ждали урока, неподвижные, два долгих утомительных часа? Два часа не шелохнувшись. Уж что-что, а детскую психологию он знал. Во время войны, да весной, да при выбитых рамах. Невозможно!

Он вошел под навес. Орудие было в исправности. Часовой у орудия подтвердил это.

— Сколько ж они работали? — спросил сержант.

— А часа два с лишком, може, и три, докончили, одним словом, да и пошли спать, товарищ сержант. Солнце-то ведь высоко, а как опустится, пойдем, сказывают, дальше.

Сержант взглянул туда, куда он не догадался взглянуть — на солнце.

Огромное, сверкающее, резкое, оно стояло действительно высоко в бездонном, казалось, всепоглощающем небе. Оттуда оно как бы говорило человеку: ну разве не прекрасна жизнь, разве не прекрасна весна и разве не поразительно прекрасна борьба за все это: за солнце, за весну, за тебя, за меня, за жизнь!

И тут только сержант Животенков понял, почему ребята не ушли из класса, когда он спал. Они знали, где и как он провел эти три дня и три ночи, и, охраняя его сон, продолжавшийся два с лишним часа, они тем самым охраняли и уважали и свое будущее, и свое настоящее, и свое прошлое.

— Одобряю! — сказал сержант Животенков и улыбнулся улыбкой, едва ли не самой широкой за всю его жизнь.



ПРИ БОРОДИНЕ

Двадцать пятого августа, накануне Бородинского сражения, неподалеку от флешей, укреплений, получивших позднее название «багратионовых», на плоском холме, поросшем вялым и редким ольховником, встретились братья Тучковы: командир третьего резервного корпуса генерал-майор Тучков-первый и шеф Ревельского полка генерал-майор Тучков-четвертый.

Всего братьев Тучковых было трое, и все они вышли в генералы. Были они ветвями хорошего дерева; на войне и в семье жили дружно; в походе и дома старались чаще встречаться. И куда бы надо им всем троиим встретиться перед этой великой битвой, да не пришлось: третий брат, израненный в жестоком бою под Витебском, полонен французами. Когда братья соскочили с коней, они обнялись и прослезились: каждый из них вспомнил о брате и поклялся в душе отомстить. Вслух же стали выспрашивать: какое кому дело поручено в предстоящем сражении?

Александр Алексеевич, — по армейскому счету Тучков-четвертый, — красивый, стройный, волоокий мужчина в мундире темнозеленого цвета, — нервно проводя рукой по лбу, — который он, кокетничая, увеличивал, подбывая верхние волосы, — сказал:

— Я, Вихрик, клятвенно могу поднять руку: лучшего дела себе и не желал — полк защищает флешу. С нами бог и Багратион! А ты куда назначен, Вихрик?

Братья в семейном кругу называли друг друга именами, оставшимися с детства. «Вихриком» прозвали в детстве старшего брата — за его жгучую неукротимую стремительность. «Выг» — осталось за вторым; он в

детстве, совсем маленьким, увидав месяц, сказал: «Она — выгнутая назад», и это показалось забавным, стали это повторять, фраза сократилась, и теперь уже плохо помнили, что значит это слово.

— Поздравляю, Выгушка. Флеши — дюжее назначение! Будете вы на них стоять, как иллюминированная картинка, — вдруг с легким раздражением проговорил Тучков-первый. — А я вчера получил специальное распоряжение главнокомандующего князя Кутузова: вывести третий мой корпус к Старой Смоленке, с тем чтобы обрушить его на неприятельский фланг и тыл, когда французы истратят последние резервы на левом фланге армии Багратиона.

— Прекрасно, Вихрик.

— Прекрасно? — Дыхание, короткое, гневное, подняло широкие плечи генерала. — Нет, не прекрасно! Прекрасно молоко, а не известковая вода. Ты можешь говорить, что я смотрю ограниченно, — говори! Но какой же я сейчас, какое у меня войско, когда ко мне, накануне битвы, в корпус на четыре тысячи регулярного войска добавили семь тысяч иррегулярного?! Ополченцев! Вооруженных одними пиками! Понимаю — московское ополчение, несут крест... Нет, сударь, это вам не иллюминация, это...

— Ты, Вихрик, всегда горячишься.

— А что же, мне бледным и почтительным быть, когда они с пиками и пики расставлены по всей дуге градусного круга? Гришка, дьявол! Подтяни подругу! — свирепым голосом, с потемневшими глазами закричал он кавалеристу, державшему его коня.

Александр Алексеевич с удовольствием смотрел на некрасивое, но пышущее силой, свежее и надменное лицо брата.

Гневная вспышка улеглась. Тучков-первый, по обыкновению бодрый, смешливый выдумщик, развеселился. Багровость с его лица еще не сошла, но он уже хохотал над тем, что его человек с испугу так затянул брюхо коня, что тот еле дышит. Затем он обратился к Александру Алексеевичу и стал рассказывать, как приехавший вчера управляющий имением попал под французские ядра и расплакался с испугу. У этого на всю жизнь след от войны останется, ха-ха! Он прислонился спиной к седлу, конь пошатнулся. Генерал громко вздохнул, и

по лицу его можно было понять, что он уже придумал, как приспособить московских ратников и их пики к бою. И видно было, что выдумка эта ему очень нравится и что она будет очень неожиданна и очень страшна для французов.

— Выгушка, а ты письмо домой с управляющим пошлешь? — спросил он. — Быстро доставит, ха-ха! Посмотрел бы ты на его рожу, — лопатой испуга не снять!

Александр Алексеевич молча передал письмо. На адресе стояло имя жены его, Маргариты Михайловны. Прочтя адрес и взвесив на руке тяжелое письмо, Тучков-первый опять побагровел, но теперь уже по другой причине. Он очень любил свою семью, хотел бы писать им длинно, подробно, ласково, а письма получались слово в слово — приказ по полку. Это раздражало его, и он завидовал своему брату, письма которого всегда были образцом эпистолярного слога. Чтобы избавиться от этих глупых и унижающих мыслей, Тучков-первый поспешно спрятал письмо брата и опять заговорил о рекрутах, теперь уже снисходительно: он-то ведь знает, как поступить со своими рекрутами, со своими ополченцами! Ему показалось, что Александр Алексеевич невнимательно слушает его.

— Разве у тебя мало рекрутов? — спросил он. — Прислали? Сто? Двести? Каковы! Перед самым боем изволили прислать укомплектование! И они осмеливаются считать своим законным правом заботу о России! У, подлецы! Я бы не только на их имущество, я бы на них самих наложил полное запрещение...

Александр Алексеевич слушал плохо, но, чтобы не обидеть брата, заискивающе улыбался. Подобно другим офицерам армии, Александр Алексеевич боялся прихода в часть рекрутов: как бы хорошо ни были они обучены, они могут разжижить если не воинский строй, то воинский дух, — деятельную и беспредельную ненависть к наполеоновским мародерам, к этой жадной и беспощадной ораве грабителей. Обычно боязнь эта оказывалась преувеличенной, — рекруты быстро пропитывались духом армии, воспитанной на борьбе с Наполеоном, и через неделю-другую рекрута не отличишь от старого служилого, а все же, стоит появиться толпе рекрутов, как офицер смущенно заерзает, покраснеет и начнет кричать беспричинно на приближенных, как кри-

чал сейчас на человека, державшего повод, Тучков-первый... Но не о рекрутах думал Александр Алексеевич.

Правда, думы начались с рекрутов. Сегодня на рассвете в его полк, так же, как и в другие части, пришло укомплектование, — разумеется не такое значительное, как укомплектование корпуса Тучкова-первого. Пришло сотни полторы здоровых, высоких и, видимо, решительных крестьянских парней. Александр Алексеевич осмотрел их и остался ими доволен. Лицо одного, рыжего парня с толстыми щеками и широкой грудью, показалось ему знакомым. Александр Алексеевич спросил имя и фамилию рекрута. Гулким голосом, хотя и чуть пришепелявая, рекрут прокричал:

— Степан Карьин, ваше превосходительство!

— Во втором взводе у вас, Иван Петрович, — обратился генерал к поручику Максимову, — никак есть Карьин? Да этот и лицом схож?

— Марк Карьин тебе кто будет? — спросил поручик у рекрута.

С неподвижным лицом, тем же гулким голосом рекрут сказал:

— Отец, ваше превосходительство!

— Позвать сюда унтер-офицера Марка Карьина, — приказал генерал.

Вытирая на ходу руки о штаны, синеватый от испуга, прибежал и вытянулся перед генералом унтер-офицер Марк Карьин. Лицо его действительно походило на рыжее и мясистое лицо Степана, но война сильно выщелочила его: оно и суше, и решительнее. Превосходное лицо солдата! При виде этого лица генерал вспомнил Суворова, которого ему удалось видеть однажды в детстве, вспомнил его голос, режущий воздух, как хлыст с кусочком свинца на конце, и с несвойственной ему резкостью в голосе сказал:

— Унтер-офицер Карьин! Рекрута Степана Карьина возьмешь в свой взвод!

Поручик Максимов скомандовал рекруту «вперед — марш», и рекрут Степан Карьин пошел за своим отцом. Генерал тоже повернулся и пошел в свою палатку. На барабане, перед ним, лежали листы бумаги, в бисерном футляре — чернильница, в граненом голубом стаканчике — перья... А письмо не писалось! Вернее сказать, писалось, но писалось не то.

Привязалась почему-то длинная и нелепая фраза: «Она так прекрасна, что даже непролазно-сонные будочники смотрели ей вслед по улице, удивленно качая головой, пока она не скроется из глаз», причем фраза эта звучала в голове то по-французски, то по-русски. Он знал, что никакие раскрасавицы не пройдут будочников. Да и что ему будочники? А фраза между тем стучала и стучала в мозг, как молоточек. «Будочники, будочники...— думал он, с улыбкой вынимая и кладя перо в граненый голубой стаканчик. — Будочники...» Он боялся думать о любви и думал о любви.

Ему тридцать шесть, а Маргарите Михайловне тридцать один. В эти годы у других людей от любви остается, как при сожжении чего-либо растительного, дым, сажа, вода... А тут получился недожог, остался уголь. — и уголь тот еще в огне! Он и так и по-другому поворачивал в сердце этот тлеющий сладостно и горько уголь; ему страстно хотелось рассказать жене об этом томлении, которое при виде ее прекрасного лица вспыхивает огнем. И ему страшно было сознаться, что он не мог выразить этого. Оттого сейчас любовь его к Маргарите казалась ему обманом, который он тщательно скрывал от себя самого. Он давал думам волю, надеясь, что найдет те слова, которые надо положить на бумагу, а вместо того вдруг перед глазами вставало поле, холмы, поросшие березой и ольховником, недоделанные укрепления, поле, где решается вопрос жизни России, где разрядятся чувства, наполнявшие людей наших, чувства, обостренные отступлением... Бородинское поле!

Боясь показаться нескромным, а если украсит себя в предстоящей битве, — то и чванливым, Александр Алексеевич, однако, писал слова о Родине и россах, — и слова эти словно бы определяли границы его мышления, его чувств. Прикованный мыслью к Бородинскому полю, он замирал и не находил слов, которые вместе с этим говорили бы о любви его к Маргарите.

Тут ему вспомнились лица Карьиных, отца и сына, оба рыжие, мясистые, грубые, земляные.

Вот этим легко! Они в передней чувств не толкуются. Ушел — и с глаз вон. Встретились — и не велика важность. Смотрите, как, почти не взглянув друг на друга, они пошли во взвод унтер-офицера Карьина, не выразив

ни печали, ни радости. Да, таким легко, — у них на все, чувства один замок: два поворота ключом — закрыл, два поворота — открыл... да, им легко!..

...А им вовсе не было легко. Степан Карьин пришел из семьи в четыре работника: такой семье, в такую войну, — все понимали, — ставки не миновать, и быть в той ставке Степану. Степан понимал это, и сам сказал: «Лоб!» И уходить все же куда как трудно! В полях — уборка, на руках — молодая желанная жена, на которую смотрел, задерживая дыхание, да и женился, к тому же, недавно — весной.

И немного прошло времени, как расстались, немного промаршировал под барабанный бой и команду «смирнись!», а какая тоска, какая мука и в какое долготерпение надо погрузиться, чтобы не думать о ней, о жене!

Они с отцом сидели на краю небольшого, с высокой отавой, лужка. Позади, в березнячке, расположился Ревельский полк, за березнячком, меньше чем в полуверсте, находились флешы. Приближался вечер. Отец, хмурясь, нетерпеливо, с преувеличенным вниманием расспрашивал о деревне. Сын нескончаемо подробно, кротким голосом, отвечал ему. Отец пугал его. При отце Степан сам себе казался мешковатым, скучным и неповоротливым, хотя на самом деле он знал всю подноготную тяжелого кремневого ружья, которое выдали ему, все «экзерцисы» и даже отмечен был при стрельбе плутонгами.

И отцу Степан казался неуклюжим, пустым: этот и мушки на дуле не разглядит, а ведь грудь подходящая, как раз такая, какая требуется для военной работы! Марк Карьин вздыхал, и ему казалось, что генерал, отправляя сына в его, Марка, взвод, тем самым намекал, что и он, генерал, видит в сыне его неладное, требующее исправления. Марк присматривался, с какой бы стороны приступить к исправлению, исправлению немедленному, так как назавтра великий бой и опытные солдаты уже моют рубахи, обряжают себя.

— Ну, хватит! — сказал решительно Марк. — Жить им в деревне долговечно, а нам к неприятелю быть долгорукими. Ты, Степан, слушай отца! Порох нам ноне выдадут хороший, мускетный, пули льют в нашем полку тоже хорошо, на снаряженье не пожалуешься. А бою быть лютому, чую. А ты как, чуешь?

— И-и, что ж, — сказал вяло Степан. — Побьемся, раз лезет.

— Ружье в нашем полку крепкое, отдает так, что человек может развалиться али язык сам себе откусить. Так ты, перед тем как огонь дать, вперед наклоняйся, слышишь? Откусываешь патрон, — думай, чтоб порох губами не замочить. Теперь, дальше. Сыпешь ты часть заряда на полку, — следи, чтобы пороху лишнего на землю не просыпалось. Отдачи не бойся, порох береги. Понял? — Он остро посмотрел на сына. Сын смотрел вокруг себя, как бы ища ружье: он хотел этим выразить свое внимание отцу. Отец же подумал другое, нехорошее, и голос его погрузнел, а речь стала торопливая: — Быстро высыпай порох в канал, прибивай пыжом! Ночь вижу, будет сырая, — ишь, понизу-то туман крадется. Я тебе дам промасленную тряпку, ты ружье укутай, оно тебе завтра жизнь спасет. Слышишь, дурья голова?

— Слышу, — сказал Степан, глядя в небо.

Высоко в переливающемся, как закаленная сталь, небе летели журавли. «К ней, в ее сторону», — подумал Степан, и ему почему-то вспомнились большие висячие уши дворняжки, которая всегда выбегала к ней навстречу. Жена поднимала крутые плечи и смеялась. Расшитые подплечики ее рубашки дрожали... Степан не удержался и сказал в небо, как в детстве, когда желали журавлям, чтобы они вернулись:

— Колесом дорога!

— Ты чего? — строгим голосом спросил отец.

Степан забормотал:

— Бабка Ворониха говорит: раз журавли к третьему Спасу летят — быть ранним морозам, а нет — так зима позже...

Отец молчал. От журавлей мысль Степана опять вернулась к дворняжке с висячими ушами, от дворняжки — к подойнику, который так легко умела носить жена, от подойника — к ее пальцам, которых вдоволь не расцелуешь... Он покраснел и сказал:

— Да, я тебе никак не успел сказать: Бурешка-то наша полегла!..

— Говорил ты уж... — хмуро пробормотал отец.

Степан пытался удержать себя, но других слов не находилось. Ему виделась эта Бурешка, тонкомордая корова с белым пятном на лбу, чудились пиликающие зву-

ки молока, падающего в подойник... и маячили руки. Он говорил и говорил про корову: какая она удоиная, какие у ней крепкие и сильные телята, — за сотню верст кругом знают про Бурешку! И надо ж такой золотой, царской корове пасть перед самым его уходом! Плохо теперь будет хозяйству, совсем плохо. Когда он уходил из дому, дурной запах почудился ему, затхлость какая-то... Не к добру!

Марк смотрел в печальное лицо сына и думал: «Какой это солдат? Оскорбился, что корова сдохла! Убыток, верно, большой, дак ведь нынче вся Расея требует подпоры! На что выдумал жаловаться!» Но Марк знал, что сын у него безугомонный и что тут одним криком дела не поправишь. А злой крик уже подступал к горлу... Марк удержал себя, даже закрыл рот рукою. Он встал и, не говоря ни слова сыну, с крайне тяжелым чувством огорчения направился к генералу. После долгих переговоров, — денщик был одного села с Марком, — денщик согласился пойти в палатку. Генерал сидел в палатке, на турецком ковре. Перед ним стоял барабан, на барабанае графинчик с водкой и два огурца. Графинчик был не почат, огурцы не надкусаны. Александр Алексеевич только что вернулся со свидания с братом. На душе его было грустно. Он отправил письмо, так и не выразив всех чувств, которые, он знал, надо было выразить! К чему тогда образование, множество прочитанных книг, к чему виденные заморские страны, встречи с умными людьми?.. Он с радостью услышал о приходе унтер-офицера Карьина. Этот грубый, колючий и искристый, как снег, солдат, глядишь, избавит его от мучительного томления. Хотя солдат был брит и опрятен, генералу он показался косматым и свирепым, как рысь. Александр Алексеевич сказал ласковым голосом:

— Говори, служивый, не бойся. Кто обидел?

— В нашем полку, ваше превосходительство, кто службу обидит, — высоким и неприятно заискивающим голосом начал Марк Карьин. — Вот сын приехал, ваше превосходительство. Спасибо, что заметили, обозначили. — И, без того вытянутый, он вытянулся еще больше и проговорил отчетливо, с расстановкой: — А сын-то, ваше превосходительство, печалится. За дён пять, как ему рекрутом иттить, пади у нас Бурешка,

корова. И, хорошая была корова! А пала. Теперь в хозяйстве урон, беда. Он и тоскует...

— Еще бы не беда, — холодным голосом сказал Александр Алексеевич. — Корова в хозяйстве у мужика много значит.

— У, господи! — забыв о ранжире, взмахнул Марк руками. — Еще бы да не много, ваше превосходительство. Вот я и говорю: «Степушка, ты не беспокойсь, ты смири сердце, у тебя все вернется». Так оно и есть!

— Что — так оно и есть? — еще более холодным голосом спросил Александр Алексеевич.

— Да я говорю: его превосходительство подумает. Он пишет домой-то, почесть, каждый день, вот и напишет матушке барыне Маргарите Михайловне: «Так, мол, и так, у того унтер-офицера Карьина и у того рядового Степана, сына его, подохла коровенка, так ты выдай телушку хоть. Из тех породных, что халадскими вовутся...» Ведь наше-то село рядом, ваше прево...

Александр Алексеевич отвернулся. Через подвернутый край палатки видны были купы деревьев, — тьма словно обрезала их ветви, — и за деревьями аметистовое мигание костров, которое бывает всегда после заката, в сырой вечер. Сырость преуменьшала зарево, видневшееся в стороне Семеновского оврага, там, где расположен корпус Тучкова-первого. Зарево разгоралось, и чудилось даже потрескивание, выделялись отдельные предметы — то конь, то журавель колодца, то колокольня какой-то белой церкви... Так рассказчик, развивая свою мысль, добавляет то или иное описание, подробность... Вот хотя бы рассказ об этой корове. «Боже мой, какие грубые люди! Завтра — Бородино, решается судьба России, судьба наполеоновской Франции, меняется карта Европы, а он, русский мужик, — о корове! Гриффоны какие-то, не люди!.. И я, — думал Александр Алексеевич, — я рассчитывал поучиться простоте у него, получить облегчение! Нет, лучше страдания от любви невысказанной, лучше сознавать себя немым, чем эта серая простота!»

Вздрагивая от сырости, генерал сказал:

— Ладно, ладно, служба! Я завтра же напишу Маргарите Михайловне: получите корову. Иди, служивый, иди отдохни! Завтра — бой.

Солдат сделал быстро «кругом» и скрылся за полосой света от костра, который денщик уже развел возле

палатки. Зарево у Семеновского зърага, возле Старой Смолянки, исчезло, будто его отдернули, как занавес. Со стороны французского лагеря доносились мотивы знакомых песен. На душе было печально. Тоже, гриффоны! Пришли в чужую страну и поют. Или они думают, что завтра им предстоит праздник, а не русский бой?..

Генерал попробовал прилечь. Но сон не шел в голову. Он покинул палатку. Костер мешал глазам, он вышел за его границы. Отовсюду несло кашей. Кашевары с большими ложками у больших котлов, приподнявшись на цыпочки и щурясь от дыма, брали пробу. Генерал невольно подумал, что вот сейчас унтер-офицер Марк Карьин и его сын Степан сидят у костра, ждут ужина и, наверное, говорят о корове. Внезапно, с каким-то скрежещущим томлением, генерал подумал: «Нет, не может того быть!.. Чтобы суворовские солдаты!..» И, накинув плащ, он пошел направо, в лесок, туда, где была расположена рота поручика Максимова.

Полк жил своей обычной, несколько торопливой, предночной жизнью. Поужинавшие солдаты крестились в сторону восхода. Другие укладывались спать, положив рядом с изголовьем чистые белые рубахи. Некоторые из солдат спали на спине, раскинув руки, как крестьяне после работы. Старые, поглядывая в сторону пылавших неприятельских костров, рассказывали об итальянском походе в Альпах. Тягости не чувствовалось, наоборот, видна была на лицах хорошая, предбоевая важность. Увидав плащ генерала, солдаты охотно вставали и отдавали честь. Им было приятно, что вот они укладываются спать и некоторые уже спят, а генерал ходит среди них, беспокоится. Откуда-то прорвался ветер, захватил лапами деревья и потряс их: ветви закачались на фоне колеблющихся костров. Генерал увидел унтер-офицера Марка Карьина. Зажав коленями сапог, он с напряжением в лице доканчивал шов... И опять генерал подумал, хотя лицо Карьина, казалось, говорило другое: «Не может быть, чтобы суворовские солдаты!..»

Услышав голос генерала, Марк Карьин вскочил, держа в руке судорожно скомканное голенище. Генерал ласково сказал:

— Сиди, сиди, служба! — И, помолчав, добавил: — Что же, передал ты своему сыну о корове?

Рядом с унтер-офицером генерал разглядел голову его

сына. Теперь, при свете костра, лицо сына казалось менее грубым. Глаза его блестели совсем особенно, каким-то жемчужным блеском, и странны были его руки — не по-мужичьи гибкие, мраморно-белые. «Нет, не о корове он думает», — сказал сам себе генерал и перевел взор на отца. Широкий, упругий, настоящий суворовский солдат стоял перед ним! «Нет, и этот думает не о корове. То есть думает обо всех коровах, которые пасутся на всей нашей земле, и о всех пастухах ее, и о всех, кто возделывает землю и собирает плоды!»

Александр Алексеевич почувствовал себя хорошо и рассмеялся неизвестно чему. Солдаты, которых незаметно скопилось возле костра уже достаточное количество, тоже рассмеялись. Тогда генерал достал трубку, закурил от костра и сказал Степану:

— Вот что, молодой служивый. Я узнал, что твоя семья потеряла отличную корову. Я помогу достать другую, не хуже. Я знаю, что ты сейчас не о корове думаешь, и унтер-офицер Карьин думает не о корове. Но и корова — ничего, сгодится, верно?

Отец и сын в голос, зычно ответили:

— Так точно, ваше превосходительство, покорнейше благодарим!..

Но другое чувствовалось за этим ответом. Не о корове думы Марка Карьина! Утвердившись на мысли, что сын его действительно способен думать перед боем только о корове, старый солдат пришел за помощью к генералу. И как приятно понять, почему сдвинуты сейчас эти старые, поседевшие в боях брови и эти крепко вытянутые ноги. И как приятно понять молодого солдата, еще не совсем оторвавшегося от дома, еще наполненного мыслями о красавице-жене, но уже готового к бою, уже понимающего смысл и необходимость боя. Генерал сказал:

— Степан, я буду писать домой, напишу, чтобы Маргарита Михайловна почаще заезжала к твоим и писала мне с жене твоей. А потом тебе ответ передам. Спокойной ночи, братцы!

И он, четко топая сапогами, ушел. Он шел и протяжно зевал, словно исполнил какую-то большую и приятную работу. Ему хотелось крепко выспаться перед боем, но он не лег. Придя в палатку, он сел у барабана и взял перо. Сначала не писалось. Он бессмысленно глядел во

влажную и пахучую темноту ночи. Костер потух. На светло-графитном небе, словно крупницы пороха, пробились звезды. Слабый ветерок чуть шевелил полу палатки, будто скребся кто-то... И вдруг в сердце словно ворвалось что-то огромное, свежее и душисто-серебряное. Очарованный этим нечеловеческим чувством, сознавая, что оно приходит в жизни единожды, Александр Алексеевич стал быстро писать своей жене. Уже слова не казались ему пустыми и тусклыми; крупные и словно ярко-пунцовые, фразы ложились на шероховатую, чуть влажную от вечерней сырости бумагу. Он писал о любви к ней, о любви к своему дому, к своей матери, братьям, селу, России. Ради этой горделивой и святой любви он и его солдаты, — если потребует бог, родина, полководец, — положат свои жизни. И вы все, оставшиеся жить, поймете это и будете жить так, как необходимо богу, родине, полководцу!

Он писал и не чувствовал, что всхлипывает, что все лицо его мокро от хороших и горячих слез, и что заолой палатки, на бурке, лежит его денщик, лицо которого тоже мокро от хороших и горячих слез, и что подалее, в лесу под березой, лежат рядом, — делая вид, что спят, — отец и сын Карьины, и лица их тоже мокры от хороших и горячих слез, а еще дальше в огромном цветном шатре лежит на походной кровати светлейший князь Кутузов, и лицо его мокро от хороших и горячих слез...

— Проворней заряжай! — кричал унтер-офицер Марк Карьин, поминутно угрюмо поглядывая на сына, как тот «саржирует» — заряжает.

Степан саржировал хорошо, и понемногу лицо Марка Иваныча стало светлеть, и ему было легко, словно опала опухоль. Он оборачивался к поручику Максимову. Поручик то и дело командовал барабанщикам: сбор, унтер-офицерам — на линию, вперед равняйся — марш, батальный огонь, сомкнись, не кланяйся ядрам, ребята...

Шел бой. Было Бородино.

Полк ровнялся, выходил. За частоколом флешей дымила пыль. Сквозь нее шли французы. Передний, высоко поднимая ногу под барабанный бой, нес на палке сверкающую штуку, похожую на круглое долото. Поглядев на эту штуку, поручик Максимов поставил рожок с по-

рохом, оглядел затравки у пистолета и подсыпал на полку пороху. А затем поручик, так же высоко задирая ногу, как французский знаменосец, шел впереди своей роты. И была схватка — рукопашная, русская, когда головы врагов разваливались, как тыквы!

Но и враги крепки. Французы начали атаки, как только после обильной росы обсохла трава, часов в семь. К одиннадцати утра сделали уже восемь атак. Генерал Компан водил войска в атаку дважды. На второй раз свалили генерала русские. Взамен Наполеон послал генерал-адъютанта Раппа. Свалили и Раппа! Наполеон приказал маршалу Даву вести войска на флешы. Даву повел, ворвался во флешы... Багратион приказывает контр-атаковать!

Поручик Максимов резко дрыгнул ногой и визгливым своим голосом опять приказал роте строиться, вести батальный огонь. Поглядел на полк... прекрасный полк! С горящими глазами стоит у знамени Тучков-первый, и лицо у него такое, точно ниспослана ему высочайшая благодать. Он видит всех, видит душу не только поручика Максимова, но и душу каждого солдата. Вот генерал смотрит — через все роты — в лицо унтер-офицера Карьина: таков ли? И генерал улыбается: таков! Вперед, ребята, за отечество!

— Ура-а!..

Французы тяжело падают в размягченную и грязную землю. Их топчут неудержимые кони, колеса орудий, артиллерийских повозок. Их лица теряют выражение развязной удалы, и беспокойное раздумье, а то и разочарование появляется на них. Французы выбиты из флешей. Маршал Даву контужен и упал вместе с лошадыю. На смену ему, в буйной и пестрой одежде, на идущем размашистым шагом породистом коне приближается король неаполитанский — Мюрат. Поодаль атаку короля поддерживает маршал Ней. Таков приказ императора Наполеона. Низенький, в низкой шляпе, он наклоняется вперед и, поглаживая себе колени, покашливая и усмехаясь, вглядывается в бой... Станный бой! Станны русские! Тревожит их упорство, оглушительны их батареи. Что за постылая страна?!

Одиннадцать утра.

Снова на флешы идут двадцать шесть тысяч французов, знающих свое дело, наторевших в победах. Они идут

звучным, как песня, шагом; златозвонно колеблются над полками императорские орлы; залихватски-бесшабашно гремят барабаны. Король Мюрат и маршал Ней ведут войска. Виват, виват, виват!..

Против этих двадцати шести тысяч стоит восемнадцать тысяч русских — и всё! Резервов нет. Отступить нельзя. Надо стоять. И стоят Марки и Степаны Карьины, стоят и падают, падают и поднимаются, наспех перевязывают раны, идут в рукопашную. Пораженный картечью, ранен смертельно Багратион. Контужен начальник его штаба Сен-При...

Портупей-прапорщик Тоськин держит полковое знамя. Он моргает глазами и время от времени, когда над полком летит ядро, мнет рукою лицо. Полк, осыпаемый картечью, стоит без выстрела, держа ружья под курок. Впереди полка прославленная рота поручика Максимова, а впереди роты — унтер-офицер Марк Иванович Карьин и его сын Степан.

Генерал-майор Тучков-четвертый, в кожаном картузе и темнозеленом спенсере с черным воротником и золотыми погончиками, ждет, слегка покачиваясь от напряжения и легкого опьянения боем. Он счастлив, как никогда. Все окружающее — войска, ядра, облака в высоком и узорном небе, выстрелы и даже смерть кажутся ему веселыми, воздушными и вкрадчиво-сладкими. Он вглядывается в приближающихся французов, видит скачущего короля Мюрата и чувствует, что всего его охватывает косматая, грозная злоба. И все, кто окружает его, — он знает это, — тоже охвачены этой злобой. Еще три, пять минут, и они ринутся!..

И ему мерещится белая фуражка брата и его лохматая, как жнивье, бурка, которую он носит всегда во время боя. Он выстроил каре гренадер, свой любимый Павловский полк, и тоже шагает вперед. Он выходит из оврага, что перед Утицей, и проходит развалины сгоревшей деревни. На улице мечется голосистая белая курочка, а у забора, в крапиве, лежит мертвый мальчик... Вперед, за отечество!..

— Вперед, за отечество! — крикнул Александр Алексеевич, выхватывая у портупей-прапорщика Тоськина полковое знамя. Тоськин, зная, что так надо, тем не менее без охоты отдает знамя, а отдав, выхватывает тесак и шагает плечо в плечо со своим генералом. Барабанщи-

ки бьют марш-поход. Полк идет навстречу французам. Впереди — рота поручика Максимова, и в этой роте, со знаменем в руке, генерал-майор Тучков-четвертый, а на-лево, через пять шагов, Марк Карьин — унтер-офицер и его сын Степан — рядовой...

...Было тихо и совсем почти стемнело, когда к безлюдным флешам, покрытым трупами, подъехал верхом на коне человек небольшого роста, в сером до колен сюртуке и низкой треугольной шляпе. Он поглядел на траверс, поперечную насыпь в укреплении. В траверсе вместо русских лежали мертвые французы. Небольшой человек в сером с трудом нашел среди них нескольких русских солдат и двух офицеров, один из которых был, повидимому, генерал. Обратили его внимание также и лица двух солдат — рыжих, спокойно-величавых, похожих друг на друга. Это были — Марк и Степан Карьины, а мертвый генерал — Тучков-четвертый. Пуля навывлет убила его. Мертвые очи генерала смотрели не на человека в сером, хотя он и был императором, а на юг, где, возле Утицы, должен был стоять корпус Тучкова-первого, брата его. Мертвые очи не видели, что и Тучков-первый ранен смертельно. Не знал генерал Тучков-четвертый, что мать его, проливаяючи неудержимые слезы, ослепнет от слез и горя; что прекрасная Маргарита Михайловна пострижется в монахини и построит монастырь над тем местом, где погиб муж ее. Не знал он... Да и зачем ему было знать?!

Из-за укрепления показались санитары. Они осторожно, зная, что возле укрепления остановился император, несли смертельно раненного гренадера, из тех, которых вел Мюрат. Гренадера, перед своей смертью, ранил Марк Карьин, — и очень обрадовался тому, как ловко работают он, старик, и сын его рядом. Чтобы утешить гренадера перед смертью и чтобы побольше было записано в истории красивых и звонких слов, человек в сером громко спросил:

— Сколько взято пленных?

Умиравший гренадер, словно сквозь сон, услышал вопрос императора и подумал, что вопрос этот обращен к нему. Умиравшему незачем выслуживаться, он имеет право говорить правду, а, кроме того, умирающий видел, что русские своей обсроной разбили то непобедимое и

блестящее, что было его, гренадера, жизнью. Вот почему гренадер из последних сил сказал:

— Ваше величество, они не слаются живыми.

— *Eh bien! vous les tuezons!*¹ — быстро ответил Наполеон, и было в его голосе такое, что ему самому, если б он пожелал прислушаться, могло показаться страшным.

Одно короткое, чрезвычайно тоскливое мгновение сказало ему, что существует не только Аустерлиц, но и Бородино; что отсюда, с этого дня, он вынужден будет повернуть и политику свою, и, что горше всего, стратегию: всегда нападающий, он перейдет к обороне... Но он не остановился на этом мгновении, а, сделав сияющее и праздничное лицо, стал смотреть поверх укреплений на восток, — туда, где, по его мнению, его ждали всемирная корона и всемирное раболепие.

Восток был в летучей, мерцающей дымке, где-то переходящей в глубокую тьму. Во тьме этой неизбежно и стародавню, с голубоватым блестящим отливом светились огни. Это были костры русской армии, фронта которой так и не удалось прорвать Наполеону при Бородине.

1943

¹ Превосходно! Мы их уничтожим!



БЛИЗ СТАРОЙ СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГИ

В конце душного августовского дня 1839 года Василий Андреевич Жуковский, поэт и воспитатель наследника цесаревича, возвращался с бородинской годовщины.

Клубы золотисто-зеленой пыли, почему-то пахнущей ванилью, закрывали какую-то деревню.

— Горки?

— Горки, — недовольным голосом отозвался кучер.

«Ах-ти, батюшки, — думает он. — Все придворные экипажи давным-давно за Можайском, а император, небось, уже скачет по Москве». Даже карета митрополита, темнобронзовая, блестящая, похожая на садовую жужелицу, славящаяся своей медлительностью, обогнала их.

Тарангасы, туго набитые купечеством. Скрипучие дрожки, пахнущие дегтем, от которых за версту несет витиеватой канцелярщиной. Прогретые до дна солнцем толстые офицерские баулы со спящими на них неизменно пьяными денщиками. Прямоволосые монахи и пышноволосые дьяконы, покрывающие своими нахальными голосами пышный, трескучий грохот дороги. Купцы на ящиках колониальных товаров. Кирасиры на раздутых и деспотически надменных конях. Уланы на «стёлистых» — колесом шеи... Дальние помещики с крикливо-напыщенными голосами. Кухонные мужики. Плетенки с птицей, не зарезанной еще и по этому поводу радующейся: гогочущей, кукарекающей... Хлесткий хохот. Пьяные рыдающие крики. Запахи коней, горячей земли, стонущей от долговременной засухи... И надо всем этим пыль, пахнущая ванилью, — должно быть, оттого, что

по дороге, перед проездом государя, разбросали множество еловых веток. А впереди предстоит еще больше пыли, криков, толкотни — вслед за зрителями идет пятидесятитысячная масса войск, парадировавших при открытии Бородинского обелиска.

Утомленный, чувствуя жестокую возрастающую боль в висках, Василий Андреевич, с присущей ему мягкой властностью, приказал кучеру свернуть на Псареву и проселком выехать к холмам на старую Смоленскую дорогу в том месте, где, позади третьего корпуса Тучкова, двадцать семь лет тому назад стояли, в ожидании боя, полки московского ополчения, а позже отступал от Москвы Наполеон.

Хотелось проехать дорогой, не столь переполненной, а того более — еще раз увидеть былые места, где проходил молодым. Шутка ли сказать: ведь уже стукнуло пятьдесят шесть... И двадцать семь прошло с того времени, как он, молодой, в новеньком ополченском мундире, жавшем подмышками, стоял в кустарниках: «Ядра невидимо откуда к нам прилетали; все вокруг нас страшно гремело...»

Он смотрел на хуторок, мимо которого катилась коляска, и ему за жнивьем представлялись клубы сизого дыма, словно тысячи огромных кулаков, неизвестно кому грозящих... Земля содрогалась и была шершава, как шагреновая кожа. Ах, какой был тогда косматый и грубый день! Видишь его туманно, будто сквозь прокоптелое стекло, и тем не менее сердце болит попрежнему.

Здесь, именно здесь, а не в лагере под Тарутином, сложились строфы «Певца во стане русских воинов», поелику: «защитой бо града единый был Гектор». Здесь, — защищая Москву, — родились эти слова, что в тысячах списков разнеслись по всей России. Хорошей болью болело сердце, когда писались эти строки, воспевающие беспредельную решимость биться за родину, отчизну, землю, семью...

Длинный кухонный обоз, видимо, принадлежащий какому-то генералу, важному и родовитому, громыхая выходил на проселок из кустов. А там, в кустах на полянке, лакеи доедали остатки обеда, хохоча над каким-то дурачком, который плясал перед ними, высоко вскидывая ступни, широкие, растоптанные, с отдельно торчащими пальцами, так что ступни его походили на птичьи

лапы. Василий Андреевич видел и пляску, и лакеев, и даже кусок гусиного крыла в гнилом рту лакея, — и не видел ничего.

Ему представлялась его семья, мать... дивная, какая-то вся прозрачная, турчанка с длинными заостренными ресницами над древними, медленно разгорающимися глазами. Как она попала сюда — с лучезарного Босфора в прохладно-душистую Тульскую губернию? Ах, не нужно думать! Жизнь — это пропасть слез и страданий. Помещик Бунин прижил с нею ребенка. Много лет спустя этого ребенка и мать взяли в семью помещика, — и все же мать должна была стоя выслушивать приказания барыни. И сын этой турчанки, лицо которой всегда казалось изыбшим, стоя выслушивал приказания жизни:

Считаю ль радости мнувшего — как мало!
Нет! Счастье к бытию меня не приучало;
Мой юношеский цвет без запаха отцвел..

Вспоминается ему пугливый и тревожный дом Протасовых в Белеве. Поседелые от пыли и равнодушные окна, за которыми даже лазурь неба кажется серой; и мечтательная Маша Протасова с росистыми и мерцающими глазами. Он преподает ей русский язык — такой лунно-нежный и ласковый. В 1812 он у Е. А. Протасовой — крутой и незабываемой женщины с мрачными буклями над кремнистым и презрительным лбом — просит руки старшей дочери Маши. Гордо сжав губы, ему отказывают. Он уезжает в Москву. Ополчение, «Певец во стане...» и жаркий тиф, от которого остались в памяти трепещущие коралловые пятна далеких островов в неизвестном море... Еще раз он просит руки Маши. Еще раз ему отказывают... Маша выходит за профессора Мейера, а любовь попрежнему наполняет его, так что никакие тряски дорог, никакие придворные ступени, — а он поднимался во все дворцы России и Европы, — не вытеснили его любви...

...Он услышал тягучий голос кучера:

— Василий Андреич, прикажешь у кустов ждать али на дорогу выехать да стегануть, покамест войско-то не догнало? Вон их сколько! Ведь их пропускать, — к утру в Можайске не будешь!

На западе, в сизоватых тенях вечера, колебалось теплое и пурпурное облако пыли. Слышался мерный шаг ле-

хоты. Трепетно скользил беглый блеск штыков. Обрывисто замирала песня, будто и в этом поле тесно ей, беспредельной, самозабвенной, русской... Василию Андреевичу приятно было ощущать рукой узорчатую ветвь кустарника, смотреть на стадо, в зыбкой голубовато-зеленоватой дымке поднимающееся по косогору, приятно было чувствовать себя сумрачным, седым и таинственно-тоскующим. Он хотел сказать: «Постойм, пропустим войско», да не успел. Он вздрогнул от раздавшегося возле самого плеча женского голоса:

— Барин, батюшка! А то не тучковский полк идет?

— Какой — тучковский? Нет в армии такого!

В мохнатом малиновом луче заходящего солнца он разглядел в кустах старуху, одетую в длинный крестьянский зипун с широкого, должно быть, чужого плеча, сильно потрепанный по краям. Старуха, стоя спиной к солнцу, торопливо запахивала рваные полы, за спиной ее колыхалась котомка. Голос у нее был испуганный, молящий, а лицо с крылатыми седыми бровями являло следы былой красоты. Надо полагать, то была богомолка, которой до гробовой доски ходить по монастырям да купеческим прихожим... Не нравились эти серые лица Василию Андреевичу.

— Иди, иди, старуха, — сказал безжизненным голосом кучер. — Иди, вот тебе кусок... Иди. Говорят тебе — нет такого полка. Чего тебе лезть?

— Иду, иду, батюшка, — торопливо отозвалась старуха, — и не надобно мне твоего куса, иду. А только сделай божеску милость... уныло у меня на душе... земля вон, и та сотряслась да и замерла, отдыхает, а я не могу. Ты мне скажи: не тучковские ли солдаты идут? Тьмотьмущее войско идет, где мне разобрать, старой да грешной, где разобрать, и так будто под колоколом, такой шум... весь день тучковский полк ишу...

«Какой тучковский? — подумал Василий Андреевич, глядя на мутно-мраморное лицо старухи. — Ах, да! Не тех ли двух братьев Тучковых, что пали при Бородине? Сегодня, кстати, при открытии обелиска показывали инокиню Марию — вдову Тучкова, что постриглась после смерти мужа... Как она постарела, однако! Да разве имение Тучковых здесь?.. И полк Тучкова — какой же? Путаает что-то старуха».

Он опять обратил глаза к стаду. Было в стаде что-то

стерновски-трогательное. А его коляска разве не коляска в Кале, и сам он не Йорк, и эта старуха не напоминает отца Лоренцо? Ему захотелось поговорить со старухой. Указывая на стадо, он сказал:

— Хороший скот, матушка. Тучковых?

— Не-не, батюшка, — торопливо заговорила старуха. — Зворыкиных будет скот, Зворыкиных. Тучковых здесь нетути. Тучково войско идет, мне бы на его посмотреть, батюшка... да вот хожу весь день, и все народ попадаетея жоской, будто кора на нем медная, прости, господи... А стадо, батюшко, зворыкинское, они крупный скот держат, у них, — сказывают, — бык пятьдесят пудов весу...

— Эка, бабка, хватила! — сказал кучер, покачивая плечом отлично пахнущую свежей кожей, розовато-сизую от вечернего солнца коляску. — В пятьдесят пудов каркадил бывает, а ты — бык. Быку настоящий вес — от силы двадцать пуд, а ты — полсотни. Откормила, ха!

Старуха Агриппина Карьина встала сегодня раным-рано, когда пухлая синева лежала еще по всей земле. Бесшумно ступая, вышла она на крыльцо избы и посмотрела на небо — каков-то нонче день? Вчера Илья, второй ее сын, — старший жил в Москве, — отпустил ее с трудом. Да и как отпустишь? Хлебá, несмотря на долговременную засуху, колосовиты, большеколосны, — сжать их сжали, надо молотить поскорее, пока не ударили дожди, а они, судя по всем приметам, близко. Илья, жадный и спорый на работу, молотит с утра до ночи, цеп его стучит, высоким и крылатым говором выговаривая: «урожай, урожай», и непонятно ему, зачем стремится мать к Бородинскому полю. Верно, был случай: полегли на том Бородинском отец его Марк Иваныч и брат Степан, но ведь было это двадцать семь лет тому назад! «Паникидку» отслужить? Почему же не отслужить? Зачем только сейчас, когда такое горячее время, когда весь ты в липком поту от работы, как в меду? Вот отвезем тяжелые и тусклые возы с зерном, засыплем его... привезем домой белесоватые мешки муки, испечем пироги, — вот тогда можно и «паникидку»! Непонятно было Илье желание матери, и долго он ворчал, прежде чем отпустил ее. Старуха пустилась на все хитрости — и недужится-то ей, и помолиться-то ей надо в Спасском монастыре, и

свечечку-то о здравии внука, что кашляет, надо поставить...

И вот перед нею тонкое и сырое жнивье. Восток уже рыхл и разноцветен. Подвязав полу зипуна, опутив пониже котомку, где плещется в крынке с узким горлышком молоко, перекатываются четыре яйца, краюха хлеба, данная на дорогу, и, на дне, завязаны в уголке платка, заветные два рубля — «на полную паникидку», старуха торопливо идет проселком. Путь дальний. От ее деревни лишь до Спасского шесть верст, а от монастыря до Бородина еще считают чуть ли не десять.

На сердце у старухи и легко и тоскливо. Впрочем, тоска какая-то бессильная, и старуха думает, что вот отслужит «паникидку», даст попу и дьякону установленное, услышит благодарность, и ей сразу станет легче. Поп и дьякон, разумеется, за такие большие деньги, какие она предложит им, выслушают всю ее повесть. А как хочется рассказать эту повесть! Деревня знает страдания старухи давно — из слова в слово — о том, как служил много лет «в Ревельском» Марк Иваныч, и как пошел француз, и как приказали собирать тех, кто по-неугомонней, чтобы направить их в тот же «Ревельский» против француза. А кто будет безугомонней Степана Карьина? Хвощевы? Лобовы? Жилины? Мискалевы? Нет такого парня, как Степан Карьин! Он сам сказал: «Лоб! Иду, матушка, прости». И день был, как сейчас она помнит, солнечный, разве-разве набежит влажное облачко, и не из облачка упала голубая слеза, а из ее глаз. Простите, добрые люди, зыбкое бабье сердце — мать! И пошла она провожать его, как вечно водится, за сколицу, как провожали на татарина, на печенегу, на половца. Тусклым взором смотрела она ему вслед; прогрета солнцем земля под ее ногами, а кажется ледяной. Рухнула она безгласно на землю, только лишь скрылся за пригорочком Степан, что шел к своему отцу на подмогу... Простите, добрые люди, зыбкое бабье сердце. Понимаю — земля зовет, знаю — надо, а на душе холодно и немощно... Выслушают ее поп и голосистый дьякон, вытрут бороды, закапанные воском свечей, и скажут: «Многие грехи тебе простятся, мать, многие, понеже муж и сын твой пали на поле бранном». И тогда скажет она: «Ох, батюшка, грехи мои тяжки!» И станет ее пол спрашивать о грехах, и вспомнит она, как молодой лю-

била плясать, как ела на Петровках мясное, как однажды обсчитала дьячка на три копейки и недодала творогу в «пасхальное»... И скажет поп: «Прощаются, мать, тебе грехи твои!» — и станет у ней на душе легко-легко, будто кто-то сумрачный взмахнул крыльями и отлетел.

Солнце поднялось, когда она подошла к Спасскому. Привратница, с неподвижно-мягким лицом и искристыми глазами, сказала ей, что весь причт и все монахины уже ушли на Бородинское, а вот ей горе — сиди у пустой обители да считай галок, которые от оружейных залпов понесутся. Старуха горестно всплеснула руками. Как же так? Ведь ей обязательно надо уговориться с отцом Николаем насчет «паникидки» на том самом на Бородинском, по убиенным воинам: Марку и сыну его Степану! Два рубля припасено. Она достала эти две засаленные, шелковисто-холодные бумажки и показала их привратнице. Привратница соболезнующе покачала неподвижным лицом и пояснила, где старуха может найти отца Николая, — не очень, впрочем, убежденная, что его найдешь.

Старуха потопталась, и так как разговаривать ей с привратницей было некогда, то, положив на скамью четыре яйца, рядом с привратницей, от которой шел тонкий запах серы и ладана, спросила: «А где ж инокиня Мария?» Инокиня Мария, бывшая прежде женой генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова-первого, погибшего вместе с мужем и сыном старухи, тоже, оказывается, раным-рано, сильно волнуясь, уехала на Бородинское. Еще бы не волноваться?! Сказывают, государь пожелал ее видеть, приказав ей встать чуть ли не у самого изголовья гроба с прахом Багратиона, который будет выставлен у подножия обелиска.

Услышав эту весть, старуха безропотно перекрестилась и пошла к Бородинскому.

Тупая, тяжкая, огненно-неодолимая жара стлалась над нею. Серая пыль лежала на дороге, люто загораживая от нее людей. Старуха в мертвящей тоске-кручине не замечала ни жары, ни пыли, ни шумной толпы, переполняющей дороги. Она шла и шла. Полы зипуна бились по ее тощим ногам. Ласковая напряженность светилась на ее лице. Она подходила к тарантам, каретам, бричкам, дрожкам, а то и к отдельным прохожим, спрашивая, где тут найти отца Николая, чтобы заказать «паникидку».

Холодно-равнодушные смотрели на нее люди, отвечая либо кичливым пожатием плеч, либо глумливым хохотом.

А солнце поднималось все выше и выше. Томителен и зловещ был для старухи всюду проникающий блеск его. Она со страхом поглядывала вверх.

Наконец она увидела Бородино. Испугала ее строгая линия солдат в томительно-торжественном блеске штыков. Все же, переборов свою робость, подошла она к усатому, расшитому серебром солдату и спросила опять-таки об отце Николае. Солдат сказал ей, что того отца Николая теперь шесть лет искать — не найдешь, так как попы сюда съехались со всей земли, и даже есть афонские! Он зевнул и предложил ей отойти в сторону.

Она и пошла в сторону, прямо по жнивью, к тому месту, где среди поля виднелся колючий купол обелиска.

Не попала она к обелиску.

Зажатая телегами, на которых лежало угощение для «отставных», некогда участвовавших в битве, собравшихся из разных мест на праздник, она видела расписанный ржаво-красными кругами задок телеги, неистово-толстый круп лошади и лютые от жары морды лошадей вокруг. Оглушенная залпами орудий, криками «ура», топотом конских копыт, от которых дымилась земля, старуха, схватившись черными руками за телегу, замерла неподвижно.

В телеге спал какой-то парень с глупой мордой, похожий на тетерева и такой же краснобровый. Старуха не видела его. Гремучий и звонкий праздник неся возле нее — она не слышала его, не видела.

Не видела она памятник бородинский, у подножия которого стоял гроб Багратиона, покрытый пышным парчевым покровом. Не видела императора, высокого красавца в яркой одежде; не видела разноцветных посланников; ни высоких хоругвей, зыбко блещущих золотом; ни крестов, вздрагивающих в руках священников и епископов, необыкновенно обрадованных тем, что они поют перед царем и полуторастотысячным войском. Не видела она прекрасных грузинских княгинь, что стояли возле своих мужей, сияющих белоснежной одеждой и звучным оружием. Не слышала размеренно-радостного пения клира, ни того, как митрополит, пухлый и высокий старик, приблизился к алтарю. Не видела густых колонн

войск, амфитеатром поднимающихся одна над другой. Не видела инвалидов бородинских, и не видела она инокини Марии, которая действительно стояла неподалеку от гроба, скромно опустив некогда великолепные очи, ныне окруженные зловещими темными пятнами приближающейся смерти. Не видела того, что на инокиню Марию действительно благосклонно взглянул император. Не видела и отца Николая, — да и где увидеть его среди тысячи монахов и священников!

— Великой державе российской... — провозглашает первосвященитель.

— Ура-а!.. — отвечает полуторастотысячное войско.

И за всем этим грохотом, пением, сверканием штыков, хоругвей, знамен — одинокая старуха, ухватившись за грядку телеги, смотрела в небо, видела там поднимающиеся после залпов тучи неистового дыма, видела, тряслась от испуга и все же мало-по-малу стала чему-то радоваться. Вот бы только найти попа, отслужить «паникидку» да рассказать ему об убиенном Марке и сыне его Степане...

Но попа не нашлось. Весь день ходила старуха по полю. Только освободится поп, только он снимет епитрахиль, только устремится к нему старуха, ан уже подскочил какой-нибудь купец или чиновник и заказывает сразу столько панихид, что служить попу до самого завтрашнего утра! Бежит старуха к другому, а подле того стоит важный степной барин и утробистым голосом перечисляет всех героев, которым он желает заказать «вечную память». Нет старухе попа. От беготни и суеты скисло молоко в узкошеей кринке, вылила его старуха, пробралась к ключу-родничку, но еле успела наполнить кринку, как подъехали молодые чиновники, разостлали возле родничка, в тени березки, ковры и отогнали старуху. Шум, грохот, крики... нет места старухе, некому рассказать о своем горе!..

И вот, к вечеру уже, вышла она к старой Смоленской дороге, где неподалеку, — говорят, — пал генерал Тучков-первый и с ним воинство русское, а среди тех воинов пали ее муж Марк Иваныч и сын, безугомонный, с нежным лицом — Степушка. Стоит старуха в кустах. Ноги усталые дрожат, хочется пить, — достала она кринку с водой, заткнутую мокрой тряпкой, отдаю-

щей молоком, взяла краюху, подумала, что целый день не ела, и видит — качается громоздкая коляска, бархатное сиденье у кучера, кучер седой, почтенный, и на скользкой, в клеточку, бледнозеленой коже сидит господин с широкими и ласковыми глазами и смотрит на дорогу. Пало в голову старухе: не сын ли погиб у него в тучковском полку? Не тучковских ли солдат ждет он? И не останутся ли возвращающиеся с праздника солдаты? И она расскажет, как умерли и как жили ее муж Марк Иванович и сын, безугомонный Степушка. Да разве для нее, для старухи, останутся солдаты, а он, небось, сильный барин.

Вот и спросила у барина старуха о том тучковском полку. Но барин, надо полагать, был из дальних, — скотовод, что ли? Смотрел он на стадо и спросил: не тучковское ли? И подумалось тогда старухе: «Поговорю с ним о коровках, а там, слово за слово, с коровок перебросимся на Бородино, человек он, видно, степенный, не торопится уезжать... все ему расскажу, все...» Сказала старуха, обращаясь к кучеру, который бранил ее за пятидесятипудового быка, что есть у Зворыкиных:

— И, батюшка, ведь барской скот особый. Вот возьми нас, мужиков. Куда бы, глядишь, иметь нам скотину? А есть! Есть, батюшка. Перед самым Бородинским сражением пала у нас корова: Бурешкой звали. И давала та корова, не поверишь, в один удой ведро с четвертью молока.

— Такие коровы бывают, — сказал кучер. — А про быка...

— Подожди ты насчет быка, — быстро заговорила старуха. — Ты слушай, батюшка, насчет коровенки. Муж-то мой, Марк Иванович, стоял на самом Бородинском, в полку Тучковом... и сын, Степушка, направился к нему. А перед тем самым уходом Бурешка-то и пади. Ох, и парень был Степушка, десятерых один кормил бы! Ух, хозяйственный парень! Ему завтра в тот бородинский поход, а тут Бурешка и пади... Господи, горя-то было!..

Василий Андреевич перевел свой взор с мягко уходящего во мглу силуэта старухи на запад, где громоздились облака, кудреватостью своих украшений напоминая капители колонн коринфского ордена. Он уже забыл о стаде, которое скрылось за кесогором, и раз-

говор старухи казался ему переполненным околичностями. Он думал: «Ее муж и ее сын стояли на Бородинском поле, может быть, их даже ранило, а она — из всего Бородина помнит только, что незадолго перед боем у них пала корова. Знает ли она что-нибудь о могуществе России, добытом ее близкими здесь, на Бородинском поле? Понятен ли ей смысл сегодняшнего торжества? Обелиск? Величие инокини Марии? Гроб Багратиона?.. Но что-то ей понятно, — продолжал думать Василий Андреевич, чувствувавший, что духота уменьшилась и ему легче, — иначе разве бы стала она искать этот тучковский полк, которого на самом деле не существует? Но как уловить ее мысли, как понять ее?»

Однако он попробовал. Он стал расспрашивать ее о корове, для того чтобы старуха рассказала ему другое, — как и что чувствовали на Бородинском поле ее муж и сын. Старуха, найдя в его вопросе подтверждение своим предположениям, еще старательней стала вспоминать уже совсем скучные подробности о Бурешке, подробности, которых она не вспоминала лет двадцать пять. Говорила, к тому же, она торопясь и оттого повторялась.

Василий Андреевич стоял перед ней растерянно. Что делать? Как ей помочь? Как разуверить ее, что нет тучковского полка в армии, да и надо ли разуверять? Может быть, дать денег? Василий Андреевич достал было кошелек, да спросил:

— Что с твоими-то случилось при Бородинском, бабушка?

— При Бородинском-то? — спросила старуха, звучно разъединяя губы. — С моими-то, батюшка, о-о-ох! — Она всхлинула, сначала тихо, затем громче и, наконец, опустилась на землю, необузданно и с каким-то скрипом, рыдая. — О-о-о-и-и! — рыдала она, желая сказать, что вот ничего-то ей не вымолвить, потому что грешна она, ох, как грешна!

И от этих рыданий склоненной до земли старухи на сердце Василия Андреевича снизошло хорошее и ровное умиление. Все-то понимала старуха, все-то она знала! Все-то понимал Василий Андреевич, все-то он знал! Это обоюдное знание, эту обоюдную горькую и нежную любовь он и пел россиянам, — пусть старуха и не

знала его стихов! Пел, дабы трепетное умиление с торжественной нежностью, свойственное поэзии, проникало в их сердца, дабы с неописуемой пытливостью взглянули они на себя, на свою страну, светлую и задумчивую Россию. Как хорошо, ах, как хорошо!.. И, понимая, что молчаливое расставание будет самым лучшим, Василий Андреевич тихо влез в экипаж и шопотом приказал ехать. Кони, словно понимая его шопот, как бы на цыпочках спустили экипаж к Старой Смоленке. Экипаж незлышно скрылся в пухлой и нежной мгле вечера.

Старуха продолжала рыдать. Правда, рыдания ее стали мягче, хотя попрежнему шли от всей глубины сердца.

От дороги послышались шаги. Старуха разглядела фигуру солдата, видимо, отставшего от части. Через плечо его болтались сапоги с короткими голенищами.

— Ну и жарыща! — сказал он хрипло. — Да и ноги стер к тому же. Вот и отстал. Где тут речка? У тебя попить нету, бабка?

Старуха сказала, что речка далеко, и хотя ей самой очень хотелось пить, она тем не менее предложила солдату свою крынку с узким горлышком. Солдат жадно схватил горшок и припал к нему. Старуха смотрела на крынку, глотая сухую слюну, и чем выше поднималась крынка в руках солдата, тем сильнее ей хотелось пить. И все? Да. Говорить с солдатом не хотелось, а тем более выпрашивать про тучковский полк. Зачем? Она только что высказалась, выплакалась до дна... и она внимательно разглядывала свою крынку, которая, словно подсмеиваясь, вздрагивала в руках солдата.

Солдат выпил воду, вытряхнул капли на траву, теплую и так жаждущую дождя, поправил сапоги и сказал:

— Вот и спасибо, бабка. Коров, что ли, пасешь? Паси, паси!..

Она с деланным радушием ответила:

— Да за что спасибо, родной? Тебе спасибо, что не побрезговал.

И они разошлись. Солдат пустился догонять свой полк, а старуха вышла на старую Смоленскую дорогу и пошла по ней. Дорога слабо, голубовато отсвечивала. Росы не было, — а то хоть собирай по капле, так хочется пить! А до воды, до ржавого болотца на взле-

те, до мочажины верст, пожалуй, пять, да и то, небось, пересохло. Устало, вязко ступая по дорожной пыли, старуха шла домой. Ей сильно хотелось пить и есть, но все же она чувствовала себя удивительно хорошо, свободно, и что-то тихое, кроткое, неизвестно откуда нахлынувшее, наполняло всю ее душу. «Вот бы только паникидку, — думала она, — только бы паникидку...» И слово «паникидка» почему-то напоминало ей сизоготомно воркующего голубя.



НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ

Повесть

1

Впервых числах октября 1941 года, в ярко выбеленной комнате оливкового особняка на Новинском, в Москве, важный и пожилой артиллерийский офицер, пронизательно щуя чернильно-синие глаза, говорил молодому лейтенанту:

— Хочется на Бородинское поле? Мысль похвальная. При вашей похвальной патриотической мысли, вдумчиво оценив обстановку, поймете, что судьба сражения за Москву, развивающегося на пространстве трех тысяч километров, решается не на Бородинском поле. Там — эпизод. Впрочем, увидите.

Офицер добавил, что ему приятно познакомиться: он некогда удостоился чести слушать лекции Ивана Карьина, отца лейтенанта. Проницательность и матовый блеск чернильно-синих глаз раздражали.

А про себя Марк думал: эпизод ли? — Бородино ли? Неважно! Другое важно — попасть на фронт и умереть с честью. Он так в уме и подчеркнул: с честью. Он не труслив, — нет, зачем же? Терзает иное: что в современной войне важнее — храбрым быть или дисциплинированным? Позорна и трусость, и своеволие, — знаю! Трусости не замечал. Своеволлие? Измучило!.. И, если нельзя его подавить, растоптать, — не лучше ли умереть с честью?

Но все дело в том, — думал он, — что вспыльчивость, ужасная, неудержимая, почти болезненная, хотя он физически здоровее дуба, — дикое своеволие загубит его

раньше, чем он возьмется за дело, которое и является его честью!

В двадцать четыре года погибнуть перед битвой? Из-за чего? Из-за того только...

Он не знал, из-за чего!

2

Природа одарила Марка Карьина способностями, вдобавок вычеканив, правда, без особого старания, образец физической крепости. Отец, виднейший теоретик и практик танкостроения, бесконечно любивший сына, помог Марку усовершенствовать его природные дарования. Школа развила остальное... казалось бы, живи да радуйся!

Рано Марк стал вскипать, не зная себе удержу. Слегка наклонив большой лоб, повитый темными волосами, вечером принимавшими фиолетовый оттенок, расставив крепкие ноги в больших разношенных и будто чугунных сапогах, он сдавленным голосом вызывающе ворчал:

— Надо по порядку, зачем ты меня «тыкаешь»?

Вопрос был нелетый, тупой, и было в нем что-то страшное. Многие, чтобы освободиться от гнетущего чувства неловкости, лезли драться. Марк, казалось, того и ждал: кулак у него был сокрушающий, каменный, а драться ему было и приятно, и стыдно. Он стыдился отца.

Любя и уважая отца, Марк находил странное удовольствие в сопротивлении ему.

Отец мечтал, что Марк продолжит его дело. Марк же выбирал профессию, где поменьше столкновений с людьми и побольше простора. Когда вы думаете об уединении, вы, естественно, сразу же вспоминаете пустыню. «Песок да скалы, — думал Марк, — над чем тут сомневаться?» Но в песок и скалы он желал ехать с тем, чтобы не подчиняться им, а их подчинить себе! С трудом окончил он Лесотехнический институт и скрылся в пустыне, в тайге, в чаще. Рубил, сплавлял, кормил комара, дрался с медведями, тонул, падал с деревьев, разбиваясь почти насмерть, и вдруг явился к отцу, вывезенный несколькими «лесовиками», которые отстаивали необходимость постройки на Каме бумажно-целлюлозного комбината. У профессора Ивана Карьина: другая

специальность, но в Совнарком и плановых организациях у него друзья и знакомые, понимающие в любой специальности, способные защитить и отстоять свое понимание. «Старик обрадуется, — сказали Марку «лесовики», — сын в разум вошел: поможет».

«Лесовики» недолюбливали Марка, да выхода другого не было: строительство комбината никак не умещалось в план.

Приехали.

А знаменитый профессор Иван Карьин, теоретик и практик громадных и неуязвимых машин, умирал.

3

Он давно страдал несколькими болезнями и, знаток медицины, хотя и не врач, понимал, что исход каждой из них смертелен. И, однако, привыкнув к мысли о смерти, он умирал с легкой усмешкой на морщинистых старых губах, а кроме того, он убедил себя, что знаменитые ученые именно так и умирают. Уже лежа в смертной постели, он без спешки и, казалось, без напряжения доканчивал свои работы, давал советы молодым конструкторам и каждый раз, просыпаясь на рассвете, брал свой дневник, чтобы записать события вчерашнего дня.

— Подвожу, Марк, итоги, — сказал он, увидав сына. — Хотел тебя вызвать, а ты сам. Твои каковы итоги?

Марк смотрел на длинное лицо, покрытое тонкой и серо-желтой кожей, с подпалинами табачного цвета на висках, слушал короткое дыхание, и ему было стыдно, что он избегал отца.

— Ты прав, Марк... Всякий должен выбирать ранец по плечу. — И он добавил с обычной многозначительностью, свойственной профессорам: — Велико ли занятие отстоять проект комбината, а помочи, в какую тебе это заслугу поставят позже. У меня — труднее: танки — капризные дамы... — И, побоявшись, что сын обидится на поучение, сказал: — Твою просьбу... помогу... Перед «итогами» похлопочу, и — самый верный успех... Но с моей стороны тоже... будет просьба.

Выбирая слова, старик долго шевелил потрескавшимися, сухими губами:

— В дневнике... Фирсов упоминается... Личное. Лишнее. Еще напечатают, вздумай они дневники издавать...

Он закрыл глаза. Несколько минут лежал неподвижно. Затем прежняя легонькая, как пух, профессорская улыбка осветила его лицо.

— Собирался дать факту новое освещение... Фирсову... не собрался. Тогда лучше вырвать...

...Просматривая дневник отца, Марк нашел про Фирсова. Он вспомнил легонькую, напомилавшую А. Франса, улыбочку отца и задумался. Что он знал такое о жизни, чего не знал Марк? Чем он был выше?

Поддаваясь очарованию этой неумершей улыбки, Марк подумал: «Да уж так ли виновен отец?»

Сущность дела заключалась в следующем.

Лет восемнадцать тому назад двое молодых ученых Иван Карьин и Федор Фирсов, не видевшиеся несколько лет, уговорились отдохнуть вместе на берегу моря, у подножья потухшего древнего вулкана Черная Гора — «Карадаг», в селении Коктебель.

Фирсов приехал с женой и трехлетней дочкой. Друзья поселились рядом, в одном доме. Начались купанья, прогулки по песчаному берегу, обеды под полотняным навесом, содрогающимся от ударов волн о берег.

Жена Фирсова, желая угодить мужу, — Карьин казался ей холодным и самонадеянным, — обращалась с ним по-братски, если мало сказать — дружески. Она балагурила, пела с ним песни, будила по утрам, уговаривала больше кушать, даже заботилась об его одежде. Вначале Фирсов одобрял, а через неделю-две заревновал. К несчастью, застенчивость и страх незнакомого ему раньше чувства ревности помешали ему сразу объясниться с женой. Та истолковала его ревность своеобразно. Подобно Гермione в «Зимней сказке», она, подумав, что муж сердится на нее за то, что она мало обращает внимания на его друга, удвоила нежности. Фирсов совсем надулся, придравшись к какому-то вздору. Супруги ссорились.

Жена сгоряча пожаловалась Карьину на сумасбродство мужа. Мы часто говорим, что старость любит поучать. Молодежи, пожалуй, поучительный тон доставляет больше удовольствия, чем старикам. Иван Карьин предстал перед Фирсовым строгий, надменный. Он сказал, что возмутительно из-за глупой ревности рвать такую ценную дружбу, как их, а также оскорблять

невинную женщину. «Надо понимать, что идеи прогрессируют очень медленно и, значит, нуждаются в постоянной поддержке. Таковы, например, идеи взаимоуважения...» Фирсов своеобразно принял ученую эту пищу. Он ответил презрительным знаком. Как хотите, а ученые так не разговаривают, да еще по этическому вопросу! Они расстались навсегда!

С той поры какая-то докучливая одурь овладела Фирсовым. Мало того, что он упрекал жену в изменах ему в Коктебеле, он даже придумал юбстоятельства, при которых она будто бы встречалась и ранее с Иваном, и женитьба эта, мол... словом, обычный ревнивый бред, который, как пламя, чаще всего освещает гримасы вашего лица, но иногда и опалает всю жизнь. Случилось последнее. Жена не нашла сил сносить несправедливость. Она, взяв дочку, тайком покинула мужа.

Прошла неделя, другая... в начале четвертой Фирсов написал Ивану Карьину, прося указать адрес жены. Короткий ответ гласил, что «поскольку Иван Карьин ее не избирал, то Иван Карьин и не знает, где его избранница».

Да и действительно, Карьин не знал, что случилось с нею. Впрочем, он обладал завидным даром не изнурять себя излишними хлопотами. Когда лет десять-двенадцать спустя бывшая жена его друга написала известному конструктору, автору книги «Танк», просьбу о содействии ее дочери, Карьин запнулся и не без усилий вспомнил ее. Однако, когда его просили помочь, он помогал охотно. Помог и здесь. Но с женой друга встретиться не высказал желания и в дневнике, который он вел аккуратно, уделил «драме юности» семь строчек. Ему и в голову не пришло, что он косвенно виновен в неудачно сложившейся жизни своего, так много обещавшего, друга, вскоре после их ссоры умершего...

«Да так ли уж отец виноват? — переспросил сам себя Марк, прочтя еще раз страницы дневника, относящиеся к событиям в Коктебеле. — Кто знает и кто скажет правду? И в чем она? И как и что можно исправить, если в самом деле произошла ошибка? Ведь это было так давно...»

И однако, несмотря на все отговорки, воображение продолжало работать. Не будучи завершителем огцовского дела в области вооружений, Марк хотел в области

нравственной быть ему равным, а то и выше его... Он поступил так, как завещал отец: вырвал из дневника страницы, относящиеся к истории с Фирсовым, но из своего сердца он их вырвать не хотел, да если бы и хотел, то не смог бы.

Без труда он нашел адрес жены покойного Фирсова. Ответ пришел через полтора месяца и не с Украины, где она учительствовала в последнее время, а из Ногинска, под Москвой, с ткацкой фабрики, от Настасьи, дочери покойного Фирсова. Мать умерла несколько лет тому назад. Дочь живет хорошо, — впрочем, в подробности она не пускалась, — и если ему хочется узнать что-либо о покойной, она сообщит... Почерк ее показался ему хмурым, несчастным.

Умерла! Уже одно это слово говорило ему, что жизненные сплетения труднее распутать, чем сеть, застрявшую в корягах. И, однакоже, он страстно возжелал распутать то, что не распутал его отец. Девушка несчастна! Не он ли обязан сделать ее счастливой? Он представлял дружбу... любовь наконец!.. Пламень, которого недоставало его отцу и которого у него, Марка, в излишке, он соединит с пламенем, унаследованным ею. Встречи, бывшие у него раньше, ласковые слова, им и ему сказанные, — лишь предвестники очаровательного будущего, которому суждено начаться после их встречи...

Встречи же не было. Соответственно духу его современников, он желал встать перед нею человеком высшего нравственного уровня. Он со дня на день откладывал поездку в Ногинск. Переписывались. Тем временем сажал на солонцах лес, хлопотал о добавочных ассигнованиях уже строящемуся комбинату, останавливал соснами пески, засыпающие хлебородный район. Началась советско-финская война. Он записался добровольцем. Его направили в школу лейтенантов артиллерии. Он окончил ее как раз перед самым заключением мира.

«Судьба, — сказал сам себе Марк. — И вообще такому пустоплету не место в мире...» Однако, несмотря на мрачный тон размышлений, подобных этим, Марк в своем деле преуспевал, сам не понимая, почему. Фраза, сказанная о нем в наркомате, услышь он ее, многое бы разъяснила ему: «Человек мрачный, но работник первоклассный». В начале же Отечественной войны авторитет Марка поднялся еще выше. Он сразу же получил на-

значение в комбинат на Каме и опять-таки не понимал почему.

Но он не спешил в комбинат. Он ждал повестки. Он — запасной, он артиллерийский офицер и должен находиться на войне! Не дождавшись вызова, он направился к областному комиссару. Тот ему: «Когда будет потребность, вызову». Марк наговорил дерзостей, снялся с учета и уехал в тот же день в Москву. В наркомат, разумеется, он не явился: «Не до бумажного производства теперь, да и вообще хорошо бы поменьше бумажек...» Он пришел к известному генералу, другу отца, и получил рекомендательное письмо в юликовский особняк на Новинском...

4

Высоко сжатое поле, солома почти по колено. Неужели — комбайном? Здесь — на Бородинском поле? А почему бы не быть комбайну на Бородинском? Правда, машина, видимо, попалась изношенная — много огрехов, хватала как попало, но, возможно, беда не в машине, а в комбайнере, который боялся немецких штурмовиков и больше глядел на небо, чем на убираемое поле. Двенадцатое октября. Немцы приближаются.

Небо сердитое, бледное. Облака похожи на морщины. Все просырело так, что упадет две-три капли, и какая-то слизь с чесночным запахом наполняет воздух, рот, ест глаза.

Торчащие клочья побуревшей соломы, тронутой первыми заморозками; мокрые заплаканные осины; золотом покрылся дуб, много берез и там, подалее, в поле, обелиск с узловатым куполом... Э, да не до того! После рассмотрим купола.

В землянку он спускался боком, плечом вперед, задев костистой и мускулистой спиной о наспех, криво сбитые стенки.

Возле поставленных один на другой пустых и гулких ящичков из-под консервов сидели двое: подполковник Хованский, резкоскулый, с узкими глазами, с длинными седыми баками, и врач Бондарин, с наружностью врачечно-внушительной и утомленной. Профессию его Марк определил тотчас же: «мыслящий рецепт», а про Хованского решил: «лубяная душа, глиняные глаза, тупые руки», — и сразу ошибся. Хованский — сообрази-

тельный, хитрый. В ответ на рапорт Марка подполковник казово приподнялся и сказал:

— Хованский, Бондарин. Учились вместе в университете, с той поры дорожки едины и — сворим. Судьба одобряет споры, сталкивая нас...

Рассуждая так, он точил оскользкий и темный камень бритву с черепаховой ручкой. Намылил часть широкой щеки, взглянул в зеркало, будто озабоченный: его ли лицо там? В то же время он присматривался к Марку, что стоял у порога, расставив ноги в чугуновых сапогах, наклонив голову со свисающими на лоб черными, переходящими чуть ли не в фиолетовый волосами.

«Горяч конь, — думал Хованский. — Умно править — далеко увезет! А силища-то, силища! Вот тебе и наследственность: профессор-то был тоще щепки. А взгляд, тьфу, спаси господи, не сглазить бы... — Хованский, как и многие долго воевавшие, был суеверен. — Огонь — взгляд! Куда бы мне его? На вторую батарею? Там политрук — магистр философии, наводчики — из студентов. Туда Гегеля надо посылать. На первую?.. Нет, пошлю на третью: покойный Матвеев горяч был, да и его пыла не хватало. А этот — угодит. Этот непременно угодит! И дело третьей предстоит горячей некуда. Пошлю на третью!» Вслух же он говорил, быстро шводя бритвой по щеке:

— Спорщики! Судьбы людские решаем. Сидим напролет ночи, а расставшись, три шага не отойдя, наговорим друг о друге такое, что, кажись, и минуты нельзя вместе пробыть.

Хованский мнителен, и ему нравится расспрашивать о лечении и профилактике. Это не значит, конечно, что он боится боя. «Бой — одно, болезнь — другое». Часто он беседует с Бондариним еще и потому, что тот — единственный из всех врачей — находит у подполковника рак печени. В бондаринские диагнозы Хованский верит, но лекарства его принимает с осторожностью: «Практика у него слаба, но — знания: ого!» Лекарства, выходит, по Хованскому, надо относить к практике, и он немножко прав — Бондарин много лет неудачно экспериментирует.

Бондарину в Хованском нравится ум, совершенство человеческого организма, который, несмотря на сокрушительную болезнь, силою воли — чудовищной, сказочной — заставляет себя трудиться, бороться, преодоле-

вать несчастья и оставаться бодрым, размышляющим. Хованский, в противоположность многим военным, скрытен — не делится душевными волнениями. В сердце его, несомненно, какая-то семейная драма, но он предпочитает о ней не говорить. У Бондарина — несчастье с медициной, а дома — полная и счастливая чаша, и ему хочется узнать: какие же бывают семейные несчастья? Хочется, разумеется, и помочь. Вот и сейчас, рассуждая с подполковником о семейной драме профессора Фирсова, дочь которого Настасьюшка из Ногинска попала на рытье укреплений, а оттуда в стоящий рядом его медсанбат, он, пробираясь между всеми хитросплетениями чужой жизни, мечтал копануть и в душе Хованского. Хованский и здесь увильнул, ловко переводя разговор на свои служебные успехи, что всегда раздражало Бондарина: по службе ему не везло. Поэтому Бондарин зол, надулся и не скрывает этого.

Марк не понравился ему с первого взгляда. Самоуверен, нагл, — что за поза для офицера! — невероятно здоров физически, презирает, само собой, медицину и будет испуганно визжать на операционном столе, когда ему станут удалять какую-нибудь бородавку. Отраженно злит и Хованский. Бондарин не отвечает на его вопрос: каким образом медицина способна гарантировать спасение от нелепой смерти на войне? «Тампоном Бондарина», работой, которую он сейчас, несмотря на смертельные бои с врагом, ведет!.. И, как всегда, Бондарин слегка преувеличивает, но ему не привыкать стать. Считая себя великим диагностом, он чаще всего ошибается в диагнозе. Считая, что умный способен изучить всё и быть мастером в любом деле, он три года изучал теорию словесности и научился писать плохие стихи.

В землянке чадит керосином подпрыгивающая от канонады коптилка, пахнет свежее испеченным черным хлебом и мокрым полушубком Хованского, брошенным в углу. Вошел писарь, и Хованский опять возвращается к мыслям о лейтенанте Матвееве, командире третьей батареи.

— Бондарин, вы знаете меня? Дед — кантонист, прадед — крепостной, убит под Севастополем! Не скрою, были в нашем роду и духовные. Дядя служил дьяконом. Но где? В гвардии Семеновском полку! Весь мой род—

кадровое солдатство, привыкшее к войне. Сам я ранен одиннадцать раз...

— Одиннадцать раз и три контузии, — подчеркнуто говорит Бондарин: дескать, желаете хвастаться, — пожалуйста!

— Одиннадцать раз. Но Хованские на рану сросчивы! Значит, смерть видал во всех образцах. В самых неприглядных! Храбрейшие валялись у ней в ногах, вымаливали минуточку, — еще секундочку жизни! Видал — в шелках, в бархатах, равно как и нагую, наглую, и все же не могу примириться, когда умирают такие, как Матвеев. Не могу!

Он стукнул кулаком о консервный ящик. Коптилка, сделанная из стакана артиллерийского снаряда, подскочила и покачнулась. Врач поставил ее на место и поправил фитиль. Хованский раскрыл маленький овальный чемоданчик, достал флягу, налил чарку, протянул врачу. Тот отказался. Тогда Хованский, не угощая Марка, а только кончиком глаза наблюдая за ним, выпил, выплюнул и понюхал корку черного хлеба, лежащую на мокром полушубке.

— Куда, Бондарин? Обождите, выйдем вместе.

Хованский, упершись локтями в ящик, положил широкую голову на длинные и твердые, как колья, руки, обвитые толстыми, словно вожжи, жилами.

— Дмитрий Ильич, как вы относитесь к опере?

— Изредка бываю.

— Я не об этом, а о факте вашего отношения к оперной, равно и к симфонической музыке. Что вы скажете, лейтенант?

Голос — небрежный, насмешливый, будто дразнит этот лубяной голос.

— Ни разу не был в опере, товарищ подполковник. И вообще к искусству отношусь хладнокровно, исключая кровных коней.

Подполковник повернул к нему большую голову со сверкающими азиатскими глазками и подумал: «Ну, да и мы не из пены морской родились, а из земли. Мы вас научим любить музыку». Он взял карандаш и провел им над головой.

— Слушайте!..

Он высоко, под потолок, поднял карандаш. Молчание воцарилось в землянке.

Наверху кто-то огромный и сверкающий жевал железными челюстями железо. Затем послышались такие звуки, словно лопались металлические пузыри. Запахло раскаленным металлом. Унылый, отдающийся в костях звук, вопиющий об одиночестве, о смерти, поднялся и замер. Его сменила торопливая акающая бестолочь, вопящая о чем-то неистовстве, исступлении...

Хованский опустил карандаш. И звуки, словно поднимаясь дирижерской палочке, неожиданно притихли. Копилка качалась едва-едва.

— Что же вы услышали, Дмитрий Ильич?

— Канонаду, Анатолий Павлыч. Канонаду начинающегося столкновения за Бородино.

— Частности прочли?

— Прочел: мне предстоит много работы. Разрешите уйти?

— Слушайте! Начинается атака...

— Откуда вы взяли — атака? Я, слава богу, не маленький, слышу. Подготовка артиллерийская, и та не началась, а он — атака!

Опять загремело, заухало, заохало.

Хованский, сыпя артиллерийскими терминами, высоким голосом стал выкрикивать итоги действий, которые он считал в громе боя. Лицо горело вдохновением.

Марк невольно залюбовался этим рослым офицером, разбирающимся в звуках войны, как в своей записной книжке.

— Резюмирую: атака с фланга была поручена батальону капитана Дашуна. Шляпа! Слышите? Ра-ра-ра!.. Наши отступили. Противник в прочной круговой обороне ограждает атаки с любого направления? А? — Он указал, куда стрелять, сколько выпустить снарядов, а затем продолжал, обращаясь к Бондарину: — Слышите?! Немцы перегруппировывают свои огневые средства, тянут их на меня, снимают с фронта. Ух, приободрился капитан Дашун! Смотрите, лоб вытирает. Лоб вытирает, а?!

Он вытер лоб, как, несомненно, вытирал его капитан Дашун. Всякому другому, — но не Марку, — подполковник мог показаться пьяным или рехнувшимся. Марк же понимал, что такое сплошная и вершинная страсть.

— Рождается новая решимость биться! Дашун оставляет на фланге одну роту, она ведет, — слышите?.. — огонь. С двумя другими капитан крадется к опорному

немецкому пункту с фланга. Использован танковый десант, не так ли? Слышите? Bravo, капитан, брависсимо! Три танка и следовавшие за ними сибиряки... это они так четко, ровно стреляют!.. Бондарин, берите трубку и узнайте результат атаки капитана Дашуна. Атаки!..

— Не было атаки, — упрямо твердил Бондарин.

— Была. Берите трубку на «Орел»!

Бондарин спросил. Кладя трубку, сообщил — не без почтения:

— Ваша правда. Подразделения капитана Дашуна ворвались в населенный пункт и ликвидировали немецкий гарнизон.

— Умею я читать партитуру, Бондарин?

— Опыт.

— Здравствуй, стаканчик, прощай, винцо! Спорить мне с тобой некогда: сейчас немцы на меня всю свою злость обрушат. Надо пойти к ребятам. Пойдем, Бондарин?

— Я к себе, в медсанбат.

Они вышли из землянки.

Подполковник угадал. Гул орудий заметно приближался к позициям полка. Правильный, огромный, с едва уловимыми пролетами тишины, он сжимал сердце и наполнял чернотой жилы. Подбежал Никифоров, комиссар полка:

— Товарищ подполковник, противник сосредоточил против нашего полка все свои огневые средства!

— При известных условиях есть возможность их уничтожить, — ответил Хованский.

Он вплотную приблизился к Марку.

— Каково здоровье, лейтенант, как сможете?

— Сможется, товарищ подполковник, — отозвался Марк. — Прошу дать место в бою.

— Назначаю командиром третьей батареи, лейтенант! Вместо убитого Матвеева. О твоём отце слышал. Нешаткий был мужчина, окончательный! Поживем изрядно и мы. Ухожу и приветствую. На всякий случай передаю тебе тайну музыки: основой действия боя должно быть стремление атаковать во что бы то ни стало. И атаковать... как? Со-о-окрушительно-о!

5

Хованский ушел давно. Марк ждал, когда же появится обещанный командир, что приведет и представит третьей батарее.

Рошица содрогалась от разрывов. Выглянуло солнце. Запахло прелыми березовыми листьями, грибами, мокрой землей, навозом. Где-то, у коновязи, после каждого разрыва почесывалась лошадь, тонко звякало железо, точно соединялись вязальные иглы. Вдоль роши летело несколько ворон.

Врач, сидевший на поваленной березе и прочищавший веточкой мундштук, разглядывая на нем отверстие, сказал:

— Видали, вороны? Бой—боем, Бородино—Бородиным, а жизнь все-таки говорит: пускаю вас до своей милости. То есть, пусть двигаются по реке льдины, сбиваются, образуют заторы, но под льдинами идет, как всегда, существование живых особей. Плывут рыбы, ворочаются рачки...

— А человек на опасной льдине все же наверху.

Медсанбат врача Бондарина с юга подъезжал к Можайску. Принесли увечного: в работах по рытью укреплений плотнику бревном перебило ногу. Одна из девушек, работавших подле, наскоро перевязала плотника. Бондарин, увидав перевязку, изумился мастерству. Он приказал привести к нему девушку. Это оказалась Анастасия Фирсова, жительница Можайска, комсомолка, мастер из переплетной. «Мед-образования не получала! Перевязку сделала согласно санминимума». Бондарин сказал: «Дар у вас, гражданка», — и пригласил ее к себе в медсанбат дружинницей. Девушка согласилась, но поставила условие — взять и подругу: Тоню Владычеву.

Ум Бондарина, пытливый, трудолюбивый, неустанный, отставал от таланта только на один шаг, но какой это мучительно тяжелый шаг! Бондарин всю жизнь свою открывал, искал, посылал «заявки» и всегда опаздывал. Молодой или пожилой профессор только что, оказывается, пришел к таким же выводам: именно этим способом излечивается именно эта болезнь! Возьмем малярию. Бондарину современные методы лечения малярии кажутся нерадикальными. Он уезжает в ужасные места, где комаров больше воздуха. Здесь, среди поколений, в крови своей носящих иммунитет, он найдет такое лекарство, которое... короче говоря, его, больного, насильно увезли из глухого уголка Ленкорани. Лекарство он обнаружил, но на другой день после того, как его открыл ныне всем известный доктор Фабусов, открыл, не выходя из удоб-

ной лаборатории большого города. Тем не менее Бондарин радовался своим открытиям. Однако же разум есть разум. Порадуешься зря один раз, порадуешься другой, да и устанешь. Приблизительно в двадцатый раз бессмысленной своей радости Бондарин усомнился в своих талантах. Он стал раздражителен, работы, им исполняемые, не отличались уже тщательностью.

В семье он был счастлив, и была она у него большая, удачная. Старший сын, химик, профессорствовал; первая дочь заведывала психиатрической больницей; вторая — видный специалист по туберкулезу; младший — печатает стихи. Бондарин говаривал: «Моя семья — самое лучшее мое открытие», и на глазах его показывались слезы, а так как ему было уже под шестьдесят, то слезы объяснялись любовью к семье. Германия идет опять на Россию. Неужели Бондарин, сын народа, весь выкипел и выцвел? И подумалось ему: «Покажем ловкость!» Все прошлые труды казались ему теперь рожденными преждевременно. Пусть под шестьдесят, но он покажет проворство на пользу людям. Мысли творческие словно бы укисали, выбраживали. Он ждал вдохновения. Встреча с Настасьюшкой принесла его. перевязка, ею сделанная, дала намек, да такой, что зарябило на сердце: «Вот где он, «тампон Бондарина»!

Благодарный за намек, лишенный зависти и преклоняющийся пред талантом, он всячески помогал Настасьюшке. В какие-нибудь две недели она узнала в медицине то, чего не узнаешь и в три года, но и дарование ее было не простое, а, так сказать, с зарницами. Одна беда — при виде книг, которых, к счастью, с врачом оказалось мало, лицо ее тупело и превращалось в пустырь. На войне не до расспросов. Все же Бондарин с отеческой пытливостью захотел узнать о прошлом Настасьюшки. Она и передай, что говорила ей мать. И кстати уже рассказала о переписке с Марком. «Лесистый человек, удивительный», — сказала она, будучи и сама не менее удивительной.

Поле, рощица, овражек, какой-нибудь захудалый садик, даже огород — умиляли и радовали ее несказанно. «Мне бы — знахаркой, — говорила она, широко раскрывая голубые и бойкие глаза, — я б тогда смерть, как лиса, со следу сбила, меня бы до корней допустить». Все времена года, все птицы и звери, всё что цвело и весе-

лилось, было близко ей. Соловьи и осины, подберезовики и кроты, дубы и песчари, закаты, восходы, росы, ветра, — все, все щекотало ее сердце.

Идет мимо нее красноармеец. В коротеньких сапогах, открывавших ее кругленькие икры, в юбочке хаки, в гимнастерке и пилотке, воззрилась она на березовую рожицу. Говорит солдату:

— Наберегли, накопили, находзяйствовались, а он — кто?.. Немец! Ему, наезжему, красоту такую отдавать?!

Боец смотрит на лес. И он видит — березы в галии обтянуты белым шелком с черными вышивками. Золотой газ реет над ними. В густом скопидомном золоте стволы сосен, яркие их иссиня-зеленые иглы, среди игол разбросаны шишки.

— Наезжать наезжают многие, — скажет красноармеец — пензенский или уральский крестьянин. — Да како-во-то немцу придется уезжать? Мы нашу красоту грабить не позволим. Сила не тесто, Расея не квашня, — понаскребем такое — вспухнут! Дай время.

— И я так думаю. Подвооружимся, соберемся, и будет ему плохо.

— А что ж? Не кто-нибудь, — Расея! Вон она какая, — просторная.

Настасьюшка с восторгом передает этот разговор, подкрасив его слегка: фантазия — не ложь, фантазия — правда, да только попрытче. И летит та девичья фантазия по линии, добираясь до самых смертных окопчиков, забрызганных кровью, замощенных патронными да счарядными гильзами. Летит такая прекрасная, что всякому хочется с нею встретиться!

Говорят: «Хвали бесстрашно, перехвалить через край нельзя». Но кто знает наш народ, поймет, что это не так. Привыкший к едкому слову, он и в приятии похвалы и в отдаче ее — осторожен. Оно и лучше. В кремне огня не видать. Величайшим тактом Настасьюшки было то, что веру в победу, веру в то, что неудачи временны, она сумела облечь в эти скромные и прекрасные одежды русской природы. Поэтому и похвалы ее казались естественными, и вера ее — правдивой. Душе становился понятен глубокий смысл жизни. Сродно птице летать, рыбе плавать, а русскому быть красивым в минуты опасности!

Между землянок со вздрагивающими трубами, мокрыми и железными, показалась фигура комиссара. Марк устремился туда. Когда он вернулся, Бондарин сидел по-прежнему, положив тонкие руки на колени, такие острые, словно напоказ. Среди рыженьких волосиков тыльной части руки как пали несколько капелек с березы, так и лежат.

— Командира ищете? Зря. Он вас найдет. Насчет боя не беспокойтесь, бой сегодня не кончится. Теперь все прогрессирует. Прежде при Бородине бились день, теперь будем биться дней десять, двадцать... Курите?..

— Нет, благодарю вас. Разрешите узнать?

— Смотря что.

— Сколько лет подполковнику?

— Сорок три.

— О! Седой уже?

— Бывает... суть не в седине...

Он, нервно стуча мундштуком о ноготь, торопливо, точно наотмашь рубя, спросил:

— А вы, лейтенант, и не подозреваете, что перед вашим приходом мы с подполковником имели рассуждение о вас лично?

— В списке пополнения моя фамилия значится, — сдержанно ответил Марк, смятенно думая: «Неужели ссоры начну с этой общивкой?» И он хмуро добавил: — Благодарю вас за внимание, товарищ.

— ...Иван Карьин — имя известное... — без внимания к собеседнику, а будто рассуждая сам с собой, продолжал врач. — Машина много раз выручала в бою. Спрашиваю подполковника: «Не сын ли случайно?» Звоним в штаб. Угадал: сын.

— Я признателен весьма... Во время боя, да еще при Бородине... моя личность...

— В данном случае вы были не личностью, лейтенант, а канвою при другой личности, — сказал Бондарин, думая про себя: «Что за чепуху я несу, какая канва, при чем канва? Надо уйти». И все же уйти он не мог.

Воспользовавшись тем, что лейтенант плохо слушает его, а разглядывает приближающегося к ним капитана Елисеева, врач внимательно осмотрел Марка. При первом взгляде он кажется дурно сложенным, косолапым, разметанным, при втором — находишь некую, допустим, лес-

ную изящность, а при третьем, — третий взгляд уже женский, — влюбишься.

— Капитан, вы меня ищете? — заговорил быстро врач суня танкисту портсигар. — Курите, курите, я только что Докурился до глупых мыслей, до головной боли. Каков подъемчик перестрелки, а? С минуты на минуту самолеты появятся? Вы незнакомы? Лейтенант Карьин! Капитан Елисеев, сосед наш и выручатель!.. Вы ко мне, капитан?

Молоденький, только что умывшийся и весь прибранный, как оптический аппарат, капитан Елисеев, несомненно, всем нравился и, несомненно, он знал это, и это нравилось ему. Взгляд его больших маслянистых и словно бы намоченных глаз остановился на Марке, — и Марку понравился этот взгляд, на что капитан ответил еще более ласковым взглядом, не без оттенка превосходства.

Но тут капитан вспомнил что-то.

— Карьин?.. Ох, боже ж ты мой, боже! Карьин? По верхней башне вижу — Карьин! Его голова! Сын Ивана?..

— Сын, — отозвался Марк, и ему никогда еще не было так приятно выговорить это слово.

Сильные и горячие руки охватили его. Капитан отскочил и, размахивая руками так, точно желал расколоть всю вселенную, воззвал:

— Карьин! Сын! У тебя на мне долгу понаросло много. Получишь в любое время и в любом количестве. Я благодаря тебе тысячи русских жизней спас.

— Это не я. Это — отец. Я ни при чем, товарищ капитан.

— Не клевети! Плоть есть плоть. Верно, дорогой доктор? Ты угадал, Дмитрий Ильич, я искал тебя, не спорю. Но, найдя тебя вместе с Карьиным, имею желание встречи вдвойне. Ты вознаградишь встретившихся: водкой и закусками, ха-ха? Мои машины ремонтируют. Есть полтора часа. Насущная необходимость ехать к нему в медсанбат, а, Карьин? К врачу?

Марк сказал:

— К сожалению... извините... мне надо на батарею. Я бы рад... на другой раз...

В ту же минуту появился давно ожидаемый командир, и Марк ушел.

Капитан Елисеев поглядел ему вслед:

— Предмет не бьющийся, не курящийся, не пьющийся, а?

— Вроде, — отозвался врач. — Он произвел на меня тягостное впечатление.

— Ну? А на меня — наоборот. Он... Он стоит сверх чего-то! Он живет громко, вроде меня. А отдыхая, опирается на тучи! Так, доктор?

— Вы, капитан, действительно опираетесь на тучи, а он...!

— Не обижай Карьина, доктор. И вот что: я опираюсь на тучу, но на какую? Не на грозовую ли, Дмитрий Ильич?

— Вы о Настасьишке?

— О ней. Чего скрывать? Немца бью, воюю, разгибаюсь на всю Россию... И в любом положении, самом распропогибельном, о ней думаю. Куда, на какую полку класть такое отношение?

— На полку любви.

— Не нравится мне это слово: любовь. Фокусник мышцей своих и тех любит. Настало для меня время отгадать это слово. Страсть? Чувство?

— Аффект?

— Вот-вот, его еще недоставало. Аффект! Знаешь, какое слово, Дмитрий Ильич? «Всклонюся я другу, недругу: убери от меня ты подалее, не клади ты мне это словушко». Так у нас поется. И — названо оно: страдание! И опирается оно точно о грозовую... звона, легка на помине, корыстится!

И он указал на север.

Оттуда, охватив уже четверть неба, поднималась тяжелая и обвислая, как мокрый мешок, грозовая туча.

7

Отец его редко рассуждал о религии. Когда бабка, зажигая накануне праздника лампадку, жаловалась, что «к деревянному маслу не подступишься», отец говорил о некоем, собирательном, крестьянине Иване Сидорове, который «дорогонько платит за поиски правды, понеже в чем правды нет, в том и добра мало». В детстве Марк часто слышал об этом Иване Сидорове. Он казался похожим на седого водовоза, по утрам медленно ввозившего во двор их домика зеленую бочку воды. Водовоз отчаянно, бабьим голосом, ругался, и Марк представлял, что вот так Иван Сидоров ругается, ища правду, и похо-

жа та правда на подпрыгивающую в колеях зеленую бочку.

С детства запомнилось крепко: отец доставал старинную книгу в кожаном переплете с мягко звякающими медными застежками. «Здесь не религия, сударыня, — говорил он матери, — а красота». И Марк знал, что в этом отец не кривит душой. Красота — древние слова, розовые птицы, печально-радостный узор, пение, золотое, гладкое, легкое. На всю жизнь запомнился звучный колокольный голос отца, читающего древние сказания.

И оттуда шло это: «И бысть ему скорбь велия».

Тем временем третья батарея поднималась на холм, опускалась, выкатилась на берег реки, вдоль которого набиты мшистые сваи, тявкнула оттуда; обогнула излучину; промчалась мимо какой-то церквушки с тремя главами, со следами пулеметных очередей; и опять выкатилась к реке. Река теперь была другая и по размеру и по цвету. Узкая, в лозняке, насмешливо-голубая, веселая, будто нет и не будет ей дела до войны, и неважно ей, что килем вверх торчит тут у берега катер.

Да, грузен труд артиллериста, тяжелы пушки, глубоки грязи, грозен и беспощаден враг, которого жди за каждым кустиком. Светловолосый, как в песне, Ванюшка Воропаев, крановщик с Уралмаша, сказал очень метко: — На войне, товарищ лейтенант, угодником стать легко, а вот праведником попробуй.

Это значит — угодить просто. А знать правду войны, ее музыку, ее ритм — куда труднее.

И, стоя по колена в грязи, когда мутная, как кисель, холодная вода текла за голенища сапог, а проклятое орудие никак не вкатывалось на пригорок, а тягач глох, Марк думал: «Ох, как прав Воропаев, как прав! И ему легко, ибо он все-таки уже праведник, а я? Он-то ведь угадал уже музыку войны. И не он один. Вот он присматривается к орудию и сейчас так повернет его, что оно само вкатится. А я?»

Праведники? Хорошее слово, все объясняющее! О войне, ее смысле они говорят редко. О немце говорят теми же словами, какими на Руси испокон веков обыывают палачей, катов. Пленных провожают недобрым взором: «Вожжи нужны, а то бы на осину». Все думы — возле орудия. И кажется, что, помимо снаряда, летит еще рядом с ним кусок их воли. На всякое затруднение,

даже беду, уже готов выход. Прищурится, и глядишь, согласно приказу, в ноль-ноль столько-то батарея на позиции и ведет огонь.

И, разумеется, далось это меньше не сразу, но вот, как далось, кто обучил и приладил, допытаться невозможно. Матвеев? Да, Матвеев, но до него был Петренко, а там — Самсонов, и десятки сержантов, старшин, рядовых — ловких, умных, ладных...

У Марка с батареями сразу установились правильные взаимоотношения. Они нравились Марку. А батареи рады были своему новому командиру. И похоже, что у всех чувство одинаковое. — большая лодка, много сильных гребцов, у руля знающий, а главное, смекалистый. И этот смекалистый сам над собой чувствует сметку подполковника... Эх, всю бы жизнь так прожить: в отваге, в сметке, в ладу!

Бойчее себя чувствовал также и оттого, что с каждым часом понимал их больше и больше. В редкие передышки, чаще всего после еды, он присаживался к ним, слушая их разговор. Сперва он казался беспорядочным и даже бессмысленным, но вскоре стал обнаруживаться высочайший смысл.

Разговор обычно начинал сержант Никита Редлов, тридцатилетний мужчина с тяжелой челюстью и предобрым лицом. На сцену одновременно появлялись какой-то племенной рыжий бык в тонну весом, которого колхоз менял на ветряк, и вражда двух колхозов из-за неправильно срубленной сосны на кладбище. Редлов служил тогда в каком-то «Земельном управлении» и ездил, как он говорил, «ликвидировать этот сосново-бычий конфликт».

— Я им говорю: «Ну, чего блеете, мужики? Ловчей вас людей в области нету, а вы быка обменять не в состоянии». Тут они кричат: «Да зачем они у нас сосну срубили!» — «Постойте, — говорю. — Давайте разложим событие на основные части». — «Это тебя, сукин сын, надо разложить да выпороть, а не нас!» — кричат, будто не понимают, а самим все очень хорошо известно.

— Кропотовцы-то? Село умнейшее! — подхватывает наводчик Стремушкин, бывший плотник, тощий, белесый и самый говорливый на батарее. — Я, товарищи, все области прошел и в Кропотове был три раза, а однажды

в осень рубил им колхозный коровник — богатейшее здание...

— Так это ты, Стремушкин, сосну-то на кладбище срубил?

— Я знаю, кто рубил, — внезапно входит в разговор татарин Батуллин. — Я зимой катал им валенки, ух, теплый село, жирный народ, веселый...

Собрались люди с разных концов страны, — а страна маханула и в Азию, и в Европу, и уперлась одним крылом в Америку даже, — и у каждого своя профессия: крановщик, плотник, пимокат, трубопроводчик, тракторист, огородник, тончайший знаток ягодных растений, печатник. Но, оказывается, все они бывали в Кропотове и, мало того, знают его наизусть! А велико ли село, сотня домов!

Неужели так-таки все и бывали? Не врут ли? Да и существует ли вообще это село Кропотово, племенной бык в тонну, ветряк и пень от нечаянно срубленной сосны на сельском кладбище? Почему удвинули это село дальше, в уральские степи, почему оно оказалось самым нужнейшим, что каждый из них побывал там? И почему там такие ловкие, умные, богатые и щедрые жители и такие простые дети? Мечта, созданная дружбой? Идиллия, порожденная войной?

Это сомнение возникло, когда Марк впервые услышал и разобрался, что дело с быком и сосной происходит именно в Кропотове, в уральских степях. Позднее, после двух-трех разговоров, сомнение исчезло, — и объяснить и возникновение его, и исчезновение было крайне трудно, да и нужно ли! Марк попробовал прервать их беседу о Кропотове вопросом:

— Редлов, вам известно, что мы стоим на Бородине?

— А как же, товарищ лейтенант? Политрук объяснял, а в Можайск приезжал профессор.. Читал вступление. Кутузов, Багратион, редуты. Что ж! Земля хорошая, противник и лезет.

— А мне, товарищи, — заговорил скороговоркой Стремушкин, — мне сюда идти было боязно. Это Бородино я в школе учил. Учитель сердитый орет на нас: «Чтоб от корня до корня мне подать». А оно длинное. И стоят на нем, товарищи, богатыри. Ну как не смутиться?.. А пришел, гляжу: вдругорядь тот же народ стоит. Я тоже встал,

— Вдругорядь! — стозвался светловолосый крановщик, — а я вперворядь его вижу и скажу: парализовать хочет...

И он затейливо выругался.

— На «нее» и в щель взглянуть жутко, — отозвался кто-то.

«Она» — это смерть. О «ней» говорят редко и без насмешки. И обычно, когда скажут о «ней» что-нибудь, то разговор прервется и возобновляется о другом, обычно опять вспоминают о Кропотове.

Однажды молчание продолжалось дольше, чем обычно: А затем произошло совершенно неожиданное. Воропаев, светловолосый крановщик, вытер узловатые руки о штаны, пригладил усы и, простодушно глядя в хмурое лицо Марка, спросил:

— Разрешите обратиться с вопросом, товарищ лейтенант?

— Прошу вас, — сказал Марк.

— Настасья Федоровна Фирсова родственница вам придется, товарищ лейтенант, или — кроме знакомая — ничего?

Спросил он небрежно, словно бы походя.

— Знакомая, — сказал Марк с усилием. — Постой, Воропаев! Да разве она здесь?

— Ну, а вы будто и не знаете, товарищ лейтенант? Хозяйка! Все поле в ее руках. Смерть не страшна, а умирать противно, не то бы ранам радовался, потому — она лечит. Полевая терапия, товарищ лейтенант!..

Отступление, ужасающие бои, неудачи, — и дружба, господство возвышенного, вера в себя, в отечество... Хорошо! Хорошо и самому расплавляться в этом... Только удастся ли расплавиться?

Праведники? Несомненно, праведники! Люди, шагающие с правдой и мечтой в душе. Люди из Кроптова...

8

— Сожалел, небось, Марк Иваныч, что тайгу да зверей оставляешь? Кто в лесу жил, знает: дерево, не говоря о звере, и то привыкает к тебе. Отходишь от него, ветру нет, а оно колышет-машет ветками, и на зенитках, приглядись, роса. А солнце полуденное. Как это в лесотехнике-то называется, Марк Иваныч?

— Сентиментализм, Настасья Федоровна, — ответил Марк.

— Ну, кто меня так зовет? Зовут меня Настасьешкой, будто няню. Да и по словам я старушка ведь, Марк Иваныч?

И она думает: не такой он, каким нашел его Бондарин, который, будь ему воля, запретил бы ей совсем встречаться с Марком. Давали парню ноши не по плечу — легкие, он и заскучал, и подумал, что мир в ладонь. И стал он выбирать ношу потяжелее, и наткнулся на «ошибку с Фирсовым». Парень смелый, решительный, дай ему эту ношу, — донес бы, не согнулся, да на ту беду вторая ноша: война. И уж две-то ноши: фирсовскую, непонятную и вторую — военную, ему не унести! Значит, надо парню помочь сбросить ту, надуманную ношу — фирсовскую. Пусть себе, с богом, несет военную ношу, — лишь бы донес. А донесет! Собою крепок, буен во хмелю, небось, но душой и разумом чист. Жалко такого отпустить, да какая же с ним дружба? — медведь с ним дружи!

— Я давно собирался увидеть вас, Настасьешка, — говорит Марк в напряжении. — И приехал бы, считай себя достойным встречи.

— Чем же один человек может быть перед другим недостойным, Марк Иваныч?

— Разве немца вы считаете достойным встречи с вами?

— То немец — убийца, невежа, чужой. У него всей поклажи, что кражи.

— Мой отец украл у вашей матери...

— Ах, Марк Иваныч! Откуда у вас эта муть? Чем ваш отец мог обездолить мою маму? Вы не думайте плохо о маминном счастье, Марк Иваныч. Да и о моем тоже. Мама моя вышла за другого, за бухгалтера, жили они хорошо, и бухгалтер был очень доволен, что вот она — с профессором разошлась, а с ним живет. И меня он любил. У ней от него двое сыновей было, они сейчас в Ногинске; один учится, другой на фабрике, где и я работала. На фабрике мне было хорошо, Марк Иваныч. Интересно. Траву ведь ткешь! Ткешь себе, и чудится, что целое поле превращаешь в кружева, в коленкор или в бумазею. Жалованье получишь, сахару купишь или варенья... нет, я своей жизнью была довольна, Марк Иваныч. Я семилетку, слава богу, кончила, и теперь меня Дмитрий Ильич на сестру милосердия готовит, сдам экзамен, на фельдшерницу учиться буду...

Марку подумалось, что разговор идет неправильно: не о том он мечтал, когда рисовал встречу с ней. И он сказал:

— Не сохранилось ли, Настасьюшка, в вашей памяти... это очень важно для меня!.. беседы с матерью... и ваш вывод: в той ссоре наших отцов — кто виноват?

Настасьюшка ответила совершенно безмятежно:

— Да кто их знает, голуба! Не нам их судить. Все трое покойники. Раз так случилось, что поделаешь?

— Сделать многое можно, — горячо заговорил Марк, — и мы, дети наших отцов... взяв на себя все, что осталось от прошлого...

— О прошлом-то, Марк Иванович, как раз больше всего и врут: оно ведь не встанет опровергать. И я так думаю, что взяли мы от прошлого только хорошее, в первую очередь — жизнь. Вот стоим мы с вами на Бородине, а сколько о нем песен пето...

Еще более поспешно, боясь утратить мысли, Марк сказал:

— Да, да! Но о Бородине после. Дневников, записок у вашей матери не осталось? По запискам раскроем: в чем же дело, почему сломали жизни?

— Какие жизни, Марк Иванович? Мамаша жила хорошо, отец помер, — вольно ему было два литра после рыбной ловли пить, я... да вы на меня гляньте: чем же я несчастна?

Марк напряженно вглядывался в нее. Черты лица ее мелкие, и вообще она вся какая-то мозаичная. Розовые уши ее немножко велики, она понимает это и убирает их под платочек, кокетливо улыбаясь и поправляя шинель, падающую с плеч, тем движением, каким цыганки поправляют шаль. Назвать ее несчастной? Почему же? Тогда чем же Марк способен ей помочь? Но почему же ему хочется говорить о помощи ей?

— Не-ет, разве я несчастная, Марк Иванович? Я поднимаюсь высоко. Есть такие, которые считают, что человек не должен выше их носа подниматься. И начнут тебе свет застить. Тех я оттолкну! Я добрая, но отталкивать умею. Свету мне хочется, Марк Иванович!

— Законное желание.

Она повела плечами. За этими плечами лесок, а за ним поле. Темные воронки дыма стелются по нему. Из серой ямы неба пикируют самолеты. Сыплется на поле пуле-

метный град. Снарядом повалило дерево. Лохматое, плетенное из веточек, воронье гнездо упало с вершины и застряло, катясь в колее дороги. Раненый, идущий по колее, перед тем как войти в палатку врача, смущенно очищает грязь с сапог о гнездо.

Марк уходил мелким, лесным шагом, высоко приподняв ноги. Большие следы его сапог четко отпечатывались на обочине. Рыжая вода заполняла эти следы... Так ли она поступила? Правильно ли, что так быстро сняла с его плеч «фирсовскую» ношу? Она не нагала, нет, — она несколько пофантазировала на тему о своем стремлении «повелевать». И относительно книг она не лгала — Лермонтова, например, она любит больше, чем Пушкина. Но ведь о своем счастье она не лгала? Да, она скоро будет счастлива... с кем?.. с ним?.. Не потому ли «отваживалась», что любит другого? Нет, нет, как так можно думать?!

— Настасьюшка, Настасьюшка, что задумалась? Он — интересный, да? Интереснее капитана?

— Какого капитана, Тоня?

— Господи! Да капитана Елисеева.

— Стыдилась бы!.. Копеечные мысли!.. И вдобавок где! — на Бородинском поле!.. Мало работаешь, идем...

9

В землянке мало перемен. Мозолит глаз коптилка, телефон с засаленным от долгого употребления шнуром, папка с приказами, испещренная отметками красным-синим карандашом, закапанная чернилами. Попрежнему вздрагивает коптилка от взрывов, и попрежнему знамя, стоящее в углу, в клеенчатом чехле, слегка отделяется от стены; тогда кажется, что кто-то хочет его вынести, но, раздумав, ставит обратно. Попрежнему в землянке Хованский и Бондарин. Широкоголовый недвижимый, словно одеревянев, сидит за ящиками из-под консервов Хованский, прислушиваясь к чему-то такому, что слышит он один. Красные его руки оттягивают ремни портупей. Во всех движениях его серьезная и умная многозначительность, и Марк не думает о нем: «философ музыкальной баллистики». Он думает другое, еще неясное, но, должно быть, очень хорошее...

→ Лейтенант Карын явился по вашему приказанию, товарищ подполковник.

— Садитесь, лейтенант.

И опять безмолвие; пристальное безмолвие, наблюдающее за силой и движением врагов, необозримые ряды которых теснятся на древнем русском поле... Странно, но после разговора с Настасьешкой Марк стал чувствовать себя гораздо свободнее, даже к Бондарину нет прежнего, несколько презрительного отношения. Неужели придется заменить «мыслящий рецепт» — «мыслящим врагом»? — думает он, с улыбкой глядя на Бондарина.

— Как на батарее, лейтенант?

— Все в порядке, товарищ подполковник. Со снарядами есть неувязка, но снабженцы обещали...

— Снаряды привезли. Психическое состояние бойцов?

— В Москву врага не пустим.

— Ваше лично?

— Сможется, товарищ подполковник...

Хованский взялся за телефон.

— Нет! Не отдавать ни в коем случае! — вскрикнул он, бросая трубку.

И он опять повернул лицо к Марку. Лицо это показалось Марку усталым, больным, измученным бессонницей сражения. Утешал Бондарин. Бурное волнение пылало на его лице. Он, видимо, страстно желал устремиться в разговор и сразить в нем кого-то:

— А, Марк Иваныч! Попали вы на именины войны. Злоба бьющихся ужасна. Я ее вижу, как всегда: ко мне все нити сражения, вернее, перерезанные нервы. Но они еще трепещут, и я вижу много. Много, голубчик! «Тысячи падали. Но первые ряды казались целы и невредимы: каждый пылал ревностью заступить место убитого и безжалостно попирали труп своего брата, чтобы только отомстить смерть его». Эти строки были написаны по другому поводу. Но я прочел их сегодня... три ночи бессонных... перед сном читал Карамзина... прочту, уроню слезу, — страшна ты, история русская, и...

— История Европы еще страшней, — глухо кашляя, сказал Хованский. — Мы привыкли — Возрождение, французская революция, Кромвель, сорок восьмой год, Коммуна... Это — окна. А о доме судят не по окнам. Вы в простенки взгляните! Виселицы, пытки, костры, насилие, надругательства над нациями, искусством. Рыцарство? Ха-ха! А вот в результате шествия всей этой сволоты и появляется великий гной, мировая гангрена, ко-

торую мы с вами сегодня, изволите видеть, лечим, Дмитрий Ильич.

— И вылечим, Анатолий Павлыч, вылечим, клянусь!

— Что мне ваши клятвы? Берегите их к концу.

— Концу чего?

— Сражения. Там они понадобятся, когда придется клясться, что с поля не уйдем, пока не падут враги. Впрочем, что о вас заботиться? У вас жару на сотню клятв хватит. Молодая у вас кровь, Дмитрий Ильич!

— Да и у вас не княжеская. Прошлый раз я, простите, злобствовал и, кажись, назвал вас поповским сыном...

— Поповский сын не позорней какого-нибудь другого. Мне-то все равно: поп ли, дьячок ли, купец ли, а лишь бы папаша. Не видел я папашин! И матери не знал. Дед, рассказывают, из дворовых, а фамилия — княжеская. И за княжескую кличку бежала за ним всегда насмешка, отчего дед и пил нещадно. А может быть, просто выпить предлог искал? Глупости все эти фамилии, двадцать пять рублей им цена. Суть не в этом. В другом. То, что я вижу в вас, Дмитрий Ильич, трепет от труда! — Он глубоко, будто на столетие, набрал в себя воздух и сказал: — Труд — самый великий меч человека, его защита и его счастье. Платон в «Федре» сравнивает душу человека с телегой, запряженной парой волшебных коней. Коня-то хоть и волшебные, но один из них с пороком, норовист, негодяй, вместо верха — вниз. Но возница мудр и тверд. Благородный, трудолюбивый конь пересилит порочного, вывезет. Вывезет, как вы думаете, лейтенант?

Марк сказал:

— Он уже вывозит, товарищ подполковник.

Хованский захохотал:

— Вот оно, великодушие молодости! Они хотят разделить славу с отцами. И правы! Отцы тоже не дураки. Например, врач Бондарин, вам, я уверен, сегодня пришла в голову великая мысль? Вы накануне открытия! Человечество с легкостью будет залечивать раны! В природу надо еще много вложить труда. И вы вкладываете, Бондарин, а? Читали вы первую книгу Бытия, лейтенант? Нет? Еще прочтете. В конце шестого дня: «и увидел бог все, что он создал, и все хорошо весьма». Обрадовался. А почему? Да потому, что был уверен — придут Бондарины и поправят то, что недоделано, а недоделанного мно-

го: и в природе, и в человеке! Например, болтливость. Да еще во время боя.

— Болтливость — порок, если бой не налажен. И дай бог нам побольше такой болтливости, как ваша, Анатолий Павлыч.

Хованский опять захохотал, широко раскрывая темный рот.

— Начальник и подчиненные! Речь представителя подчиненных по случаю юбилея начальника. Впрочем, перед тем начальник хвалил подчиненного.

Марку было чрезвычайно трудно следить за беседой. К тому же, подполковник, явно многословен, а врач — излишне, и даже бессмысленно, горяч. «Не скрывается ли здесь, как и прошлый раз, что-то иное? — встрепенувшись, подумал Марк. — Спорят они о труде, а думают обо мне». Но, пожалуй, на этот раз было другое.

Бондарин достал портфель, вытащил оттуда пачку поспешно набросанных заметок. Посыпались медицинские термины. Хованский, к удивлению Марка, превосходно разбирался в медицине. Даже сквозь свое невежество Марк понял, что подполковник высказал несколько дельных мыслей. И это, наряду с тем, что он отдает приказания о бое, выслушивает донесения, соглашается или возражает своим помощникам.

К Марку они оба относятся теперь по-другому. Почему? В бою никаких особых дарований Марк еще не проявил. Он был послушен, не больше. Для него в бою хорошо и то, что дисциплинирован, но разве не нужна в сражении выдумка, молниеносное вдохновение? «Такими разве хаживали в бой деды наши?» «А разве ты знаешь, какими? Бывало, ходили такими, а бывало, придя, делались другими. Мы знаем начало и конец действия, а самый процесс его кто уловил? Кто расскажет мне истинную музыку прошлого сражения, когда вон, по словам Хованского, до сих пор спорят о том, как протекала и изменялась Бородинская битва...»

Промежутки в буре предвещают еще более ужасный всплеск ее.

Внезапно канонада прекратилась. Наступила тишина да такая, что улады пылинки — прогрохочет громче грома. Сырой холод потряс Марка.

Хованский откинул назад плечи. Из угла, из тьмы, вы-

Ступил долговязый писарь. Держа шинель двумя пальцами, он подал ее Хованскому и вышел торжественно, словно на цыпочках. Хованский надел шинель, закутал ноги, опять уселся насупившись. От его шинели пахло табаком, машинным маслом, мылом. Из одного кармана торчало полотенце. Должно быть, ходил на речку окупаться, да и забыл вынуть, — купался он, — говорят, — до льда.

— Воспитывался я в военной среде, знаете, — сказал он, редко моргая длинными ресницами. — А военная среда к женщине на словах относится хорошо, а на деле — значительно хуже. Здесь, Дмитрий Ильич, тоже не мешало бы подлечить среду. Был я однажды на маневрах. Пришел из Рязани, — стояла наша часть тогда в Рязанской. Батарею мою поставили на хуторе. Так, одно слово, что хутор. Торчит полугнилая изба среди полугнилого поля, у гнилого болота, и вокруг темень, ветер, осень, жуть. Жена у меня тогда в городе находилась. Думаю: что бы хоть жене приехать? Да откуда она узнает, что я здесь? Маневры, бросают влево — вправо, бросили на хутор — пятые сутки неизвестно для чего. И вдруг трывнь-трывнь, — тогда еще колокольчики водились, — въезжает пара. Она? И была у меня дочка трех лет. До того часу, как они сюда, на хутор, въехали, не помню, как относился я к ней. Растет — ну и расти!.. Въезжает пара, жена возле ямщика, сама белей мела. Говорит: «Ты?» — «Я, мол. Что случилось, в чем причина приезда, да и как нашла?» А она дочь сует в руки, шепчет: «Не могу, тоска загрызла, объясни, что происходит со мной?» — «Да глупость, мол, происходит! Зачем приехала? Что отвечать начальству?» — «То и скажешь, что тоска». Пожили они у меня день. Я настаиваю: «Надо уезжать, и без того неприятности». Уговорил. Да и жена поуспокоилась. Правда, у меня сердце ныло. Выйду, погляжу на небо, небо в тучах, и тучи те прямо у моих сапог. Махнешь направо—дождь, налево—слякоть, а в полях что-то катится, и воеет, и свищет. Вдуматься по сути дела, самая обыкновенная русская непогодь, которую и бурей-то, собственно, назвать нельзя. А тоска непогодная, туманная! Поехали. Через день непогодь как топором отхватило, батарея моя вышла к месту назначения, и в каком-то районном центре получаю телеграмму: «Ваша супруга, товарищ командир,

скончалась». Поскользнулись кони, когда ехали от меня, покатило тарантас по откосу, а тут река, омота, — и захлеснуло. О дочери ни слова. Я телеграфно спрашиваю. Молчат. Я — в город. Уже похоронили обеих! Я пришел на могилку. Кладбище старинное, в деревьях. Деревья как золотым металлом осыпаны. А я стою, гляжу на этот темный холмик, где еще следы лопат — приглаживали землю могильщики, и думаю: «Ведь вот отчетливо помню, что полюбил их неслыханно, когда сходили они с крылечка и над ними простерлось наше бессонное небо. Полюбил ведь? Вчера пылало сердце, а тут захирело в сутки?» Что это? Нелепости в жизни? Предчувствия? Или случайности, которые сопровождают каждую бурю? Этих ответов я дожидаюсь сейчас, а тогда была просто мука, звериная, грубая мука. И самобичевание: не будь бы я годами холоден, разве бы они ринулись ко мне? Дождались бы!.. Простите, я вам не повесть читаю поучительную о сгоревшем доме, а у меня такая своеобразная манера отдыхать в затишьи. Я просматриваю карты, на которых бит, перед тем, как взять карты, на которых выиграю.

И прояснившимся, великолепным голосом, напоминавшим Марку голос отца, он спросил с отменной простотой:

— Хорошо вы встретились с Настасьешкой?

— Хорошо, — ответил Марк и не солгал. Чувство, оставшееся после встречи, было подлинно хорошим, словно побывал в большом, отлично содержимом, фруктовом саду. Выразить это чувство трудно, но надо. Хованский ждет. На добром лице Бондарина тоже напряжение. Марк, немного помявшись, сказал: — Видите ли, товарищ подполковник...

— В таком случае не трудно сказать — Анатолий Павлыч.

— Я боюсь нагрубить, Анатолий Павлыч, если попытаюсь передать мои чувства, испытанные мною при встрече с Настасьешкой.

— Раз боитесь нагрубить, значит, не нагрубите.

— У меня осталось такое впечатление, — сказал Марк, уже повертываясь к Бондарину, — что я ложусь спать в двенадцать, а она в восемь. Я работаю в ночи. Она — днем. А все же для нас обоих солнце блестит одинаково прекрасно...

— Как здоровье, как можете, лейтенант?

— Сможется, товарищ подполковник.

— Вы свободны, лейтенант. Отправляйтесь на батарею. Батарея на немца нашибиться не даст, но надо, чтоб и на мель люди не натыкались. Знаете, шелуша орешки, тоже наешься вдоволь. Поприглядитесь.

— Есть приглядеться, товарищ подполковник.

10

Да и приглядываться не пришлось.

Два разведчика — Батуллин и Прокопьев отправились узнать, что творится у немцев. Три часа идет редкая перестрелка. Немцы к чему-то готовятся, перегруппировывают силы. В разведке Прокопьева ранили, и в это же время немцы открыли сильный минометный огонь. Батуллин, «не выдержав техники», по его словам, покинул товарища и прибежал на батарею. Политрук и Воропаев, первые встретившие его, говорили, что никогда они не видали такого испуганного посинелого лица.

— Мертвец, и тот чище, — добавил Воропаев.

Добро, что случайно оказались под рукой санитары, которые и вынесли Прокопьева! А если б их не было? Погиб бы хороший боец, пал бы позор на батарею! Уже сейчас подполковнику известно... откуда?

— Откуда известно?! Не знаю! — тем же, несколько беспечным, голосом сказал крановщик.

Марк приказал привести Батуллина.

Приближалась ночь. Торопливо, точно подводя счет, били по лесочку немецкие минометы. Батарея им не отвечала. Спрятавшись в лесочке, на полянке, возле старинного колодца, заросшего высокой крапивой и лопухом, батарея бросала снаряды в левый сектор боя, к реке. Сюда, по предположению Марка и по словам разведчиков, движется основная сила удара немецких войск.

Ковыляющей походкой, выкидывая вперед каблуки, подошел Батуллин. Лицо его, раскосое, круглое, было так бледно-прозрачно, что казалось, можно разглядеть сквозь кожу решетку костей. Увидав это виноватое лицо, политрук и будущий сержант Воропаев потемнели, точно сейчас разглядели трусость.

И тут-то ужасная язва ярости, которой так страшился Марк, охватила его сверху донизу. Наклонив голову с

просторным, заполненным вспухшими жилами лбом, расставив чугунные сапоги, сумрачный, вздрагивающий, он ворчал глухим голосом, от которого Батуллин сотрясался больше, чем от пикирующего штурмовика.

— Глядите на него! Всматривайтесь!.. В немецкой одежде хочешь щеголять? Немецкой устилкой быть?

— Товаришш командир, товаришш литинант... — бормотал Батуллин, медленно ворочая треснувшими от внутреннего жара губами.

— Уходи! Уходи, чтоб батарея тебя не видала! Уходи под минометы. А оттуда приведешь «языка». Слышишь? «Языка»! Немецкого! Без «языка» не пустим! Налево кругом!..

Батуллин сделал «налево кругом», и как был без шапки, без винтовки, так и пошел. Уже по дороге добряга Воропаев нагнал его и вручил ему винтовку:

— Ты ничего. Ты не бойся, Батуллин, главное дело! Ты считай, вроде меня, — весело пожито, красно похоронено.

Батуллин неожиданно рассердился. Зубы его сверкнули. Лицо исказилось.

— Кто хоронись? Не буду хоронись! — прошипел он и скрылся в голых кустах.

Воропаев глядел на размерно вздрагивающие ветки кустарника. Верх их еще зеленоватый, а низ уже надел темную шубу зимы, закутавшись дебелим мхом. «Дал маху лейтенант. Уйдет поэзия!» Разговоры о домашности, которым часто предавался Батуллин, светловолосый краповщик называл «поэзией, детским дермом». То ли дело Уралмаш или хотя бы Кропотово, товарищеское веселое село, работающее, вдумчивое, где все друг за друга, каждый другому насадка. «Жалко лейтенанта, надо его побережь: кропотовский парень, оттуда! Только как же это он, при кропотовском уме, маху дал?»

Но оказалось, что лейтенант маху не дал.

Батуллин вернулся с «языком».

А перед его приходом было жарко.

Батарея, понимая, что все ее спасение в точности работы, действовала с чудовищной, невозможной, казалось, для живых существ точностью. Хотя позиция была новая, но каждый шаг по неровной и незнакомой еще земле был рассчитан сразу: столько-то секунд на проверку. Чутким ухом батарея улавливает в трубке полевого те-

лефона голос корректировщика, что «с пяти попаданий», «с четырех», «с трех»... «объект разрушен». Марк вносит сообщение в клеенчатую тетрадь, широкую, как тот чехол, которым обернуто шелковое знамя, — и да будет она священна, эта тетрадь, как знамя!

Чем сильнее сгущалась ночь, чем ниже спускались осенние тучи, до липкой влаги которых, казалось, достанешь затылком, тем чаще рассыпались пониже туч коварным, серебристо-желтым блеском вражеские ракеты, тем быстрее и удачнее сыпала в ночь, в наступающих немцев третья батарея свои смертоносные, злые снаряды. «Помирать хотите под иллюминацию? Пожалуй-ста!» — изредка говорил Воропаев, наблюдавший за подносной снарядов.

И ярость, которой был охвачен Марк и которая не исчезла с уходом Батуллина, а еще увеличилась, ужасающим своим восторгом охватывала не одного его, но и всех, стоящих рядом с ним. Подражая своему бешеному лейтенанту, солдаты, как и он, наклоняли головы, расставляли ноги и после залпа глядели на ракеты, будто по их блеску пытались угадать: сколько же уничтожено, но сейчас немецких рож?

Давно от сотрясений обрушился древний колодец, небось, стоявший с Наполеонова нашествия; давно осыпались деревья, засизевшие было осенним инеем; давно в волдырях привыкшие к работе руки подавальщиков снарядов, а командир батареи неутомим. Он смотрит на приборы, проверяет радиста, телефонирует и чрезвычайно радуется, когда ему удастся перебраться по телефону словом с Хованским, который почему-то тоже в эти часы охоч с ним поговорить. Говоря, он представляет себя Хованского. Голова его, в седом жестком волосе, широка, как кастрюля, а тело длинно и тонко, будто тесина.

— Как можется, лейтенант? По левому сектору?

— Сможется, товарищ подполковник. Так точно, по левому!

И лейтенант спешит к орудиям:

— Сем-ка, еще, ребята, по немцу! Действуй, артиллеристы!..

И то сказать, — третьи сутки не дают артиллеристы немцу ударить по дивизии с левого сектора. Рушат рушат.

— ...Куда прикажешь с ним идти, товарищ лейтенант!

Ух, знакомый голос! Знакомый? Лейтенант кинул трубку полевого телефона.

— Батуллин? Чорт! Ты?

— Так точно, товарищ литинант!

— И с «языком»?

— Так точно, товарищ литинант. Большой «язык», едва засиловал. Думал, осиротеют у меня в колхозе, под Уфой. Он мне наперерез! Я — в один прыжок!

Голос у разведчика сиплый, но какая теплота, какая чертовски приятная теплота!

Марк осветил фонариком фигуру немца. Человек не тряпка, да и ту изомнешь, если ползти тебе под огнем минометов. Помят и немец, рослый и, видимо, силищи неимоверной. Еще недавно, там, за спиной своего огня, был он напыщен и высокопарен, а вот как пробрила смерть, так и стал он пуст и мелок, что противно и сморщить.

— Завоеватель? Ефрейтор, сволочь? — слышится взвизгивающий от злости голос Воропаева. — В Кропотово им! Прикажете пулю, товарищ лейтенант? Она зудит по нем. Прикажете?

Лейтенант спешно приказал вести немца в штаб полка: Батуллин, самодовольно лоснящийся, повел немца. Не доходя шагов ста до штаба, он решил показать штабным, как удалые разведчики приносят «контрольных пленных». Он взвалил огромного немца на спину и, согнувшись, потея и пыхтя, принес его к землянке. Немец лежал на его спине смиренно, стараясь не задеть татарина локтями; испуганно был раскрыт рот ефрейтора со вставным стальным зубом вверху.

Едва Батуллин скрылся с полянки, как внутри Марка все запенилось и запетушилось. Приятно, леший его дерит, чертовски приятно!

Приятно, что угадал сердце Батуллина. Теперь много будет угадываний. Другого порядка, разумеется. Приятно, что в ярости не потерял себя, а, наоборот, нашел! «Тра-та-та-та-та, тра-та-та!» — насвистывал он. И орудия подпевали ему в голос: «Тра-та-та-та, тра-та-та!» И лес вторил.

«Нет-с, Марк Иваныч, вы в этом деле не уронили тени отца!.. Да, в этом. А в другом? В каком? Ах, — Настасьюшка!..»

Подумал о ней, и радость его не умножилась... Живет.

для себя? Живи. Славы ищешь? Ищи. Я ни при чем! Я не из вашего комода, не ваш выдвижной ящик...

...Перед рассветом орудиям дали отдохнуть. Воропаев принес в котелке пахнущую дымом кашу. Марк густо, по лесной привычке, посолил ее и стал жадно есть. В голосе Воропаева, — он «заводило» в батарее, — чувствовал уважение. Он учтиво подавал хлеб: любимые Марком горбушки. Марк понял — батарея нашла настоящего хозяина и подчинилась. Что ж, приятно!

И еще ему приятно сознавать: гул сражения, в котором он участвует, в несколько дней изменился для него. Изменился заметно. Вначале, — что греха таить? — он чувствовал себя песчинкой в урагане. Теперь же Марку уже кажется, что он выдернул наиболее вредное, наиболее суетливое, от которого в диком страхе пучеглазится человек. Добыто «оно» с трудом, с тяжестью, будто не дни прошли, а годищи. А разве остальным «оно» легко досталось? Мало искривилось людей, мало истоптано гвоздистыми ботинками войны?.. Невелика третья батарея, а послушаешь бойцов—сколько народу погибло, пока не подобрались ладные...

Сквозь залпы орудий, каждый из которых выбивает себе дорогу по сквозящим верхушкам деревьев, сквозь едко-мягкий вой минометов Марк слышал ляг танковых гусениц. Машина спешно пробирается лесом. «Чья бы, куда бы?» — подумал Марк, и ему пришло в голову, что, поглощенный жизнью своей батареи, он забывает спросить, как же обстоит дело на всем Бородинском поле, этом небольшом участке великого сражения, происходящего на гигантском пространстве: от тундр до кипарисов.

С ловкостью, свойственной удачливым и счастливым людям, капитан Елисеев поставил свой танк на холмик, возле опушки. Гусеницы чавкнули последний раз, и, вытирая руки тряпкой, с масленистым, сияющим довольством лицом, в люке танка показался сам капитан. Разумеется, так же, как и Марк, он почти не спал эти ночи, но какая разница в выражении лица! Марк, хотя внутренне и чувствовал себя превосходно, внешне казался угнетенным. Капитан Елисеев? Разве подумаешь: ну, подгулял немного! Попрежнему волосы капитана цвета спелой пшеницы, нежна кожа на длинной шее, даже грубый ворот кожаной потрескавшейся куртки по-

хож на дивный ожерелок из каких-то приятных рыженьких камешков.

Попрежнему капитану нравится шептать вам на ухо, обдавая весь ваш затылок теплым очаровательным дыханием. Слова его, включая и самые обыкновенные, вроде «задание», придают вещам и поступкам удивительную волшебную силу. Второй раз видел его Марк, а как стал близок этот человек!

— Есть на моем сердце твоя отметка, — шепчет он на ухо Марку, — по такому случаю и заехал. Надо поговорить. Увидимся ли еще, — не знаю.

— Предчувствие есть?

— Почему так: предчувствие? Предчувствие — это когда угорит человек от нужды. Другое, друг, другое! Ливень крови вижу, -- так бьемся. А какой рекой плыть, ту и воду пить.

Слова у него прихотливо плещутся. В юности он был пищиком, и есть в его словах что-то от прежнего ремесла: охваченно свистит пила, сыплются розовые, пахнущие сыростью и смолой, опилки, рубаха вздувается от движения...

— Стало быть, другое?

— Другое. Сердце! Про тебя тут, перед приездом, промелькнула напраслина. Дескать, профессорских сынов знаем: дурье сплошь. Ха-ха! Я да еще Настасьюшка в тебя верили. Что? После приезда? Нет, после приезда твоего я с ней не говорил о тебе. Молчали. Да и зачем жевать вслух! Но перед самим собой мигать не хочу! Хованский прав и Бондарин прав: любит она тебя. И ты ее, вижу, любишь! Москва, — сказывают, — с одной спички сгорела. Так что же нам чмурить над людьми, издеваться: не бывает любви с одного взгляда! Бывает? Бывает пламя? Сжигает?..

— Сережа!

— А?

— Взгляни на меня.

— Гляжу!

— Похож я на того, каким вы меня вылепили?

— Ты почему так: не годен? Чем? Что ты скрываешься?

— Шарю день и ночь в себе и не нашарю. Чего мне тебя, Сережа, морочить, да и зачем себя портить разговором?..

Он хотел объяснить ему все думы, которые накопились в нем о Настеньке. Достаточно его ткнуть, еле-еле уколоть, как он уже поймет тебя. С ним можно... И тот час же пришло в голову: «С ним-то более чем с кем либо нельзя! Уж кто-то, а Елисейев не поймет. «Какое право, — спросит он, — имеешь ты говорить о ней плохо сухо, низко? В каком гадком деле ты ее видел? Слова дурное ты о ней слышал?»

— Марк! Ты опять молчишь? Мне, друг, костылять некогда, мне надо на новые позиции спешить. Я урвал десять минут. Говори, Марк. Не хочешь ты меня морочить? Понимаю! А в чем? Да не мешкай, друг! Говори. Жду.

Марк сказал:

— Не хочу кричать на всю округу во время боя!

Неожиданно словам этим капитан Елисейев придал большое значение, — истолковав их, разумеется, по-своему.

Он сказал:

— Спасибо, друг. У смерти коса низко ходит, у кос травы будет большой. Но про меня не думай, что я, как трава, попаду под ту косу! Нет! Я бы к тебе тогда никак не заехал. Я уязвлен, но не заколот. И уязвленный— пойми!.. — я могу за твое счастье радоваться.

«Ну, что он пристал ко мне с этим счастьем?» — подумал в горечи Марк. Вслух же сказал:

— А как положение на Бородинском?

— На Бородинском? В порядке. Укомплектуем немца до положенного числа.

— Какое ж положенное число? — спросил, улыбаясь, Марк.

— Смета составляется. Пока цифры контрольные, но и то немки плачут. Я к тебе почему заехал? — зашептал он опять на ухо. — Почему за тебя радовался? Только потому, что ты хороший? Э-э! Мало ль их, хороших. Я, друг, не так ограничен умом. Нет! А потому, что ты бился лихо! И лихо мне помог на левом секторе! «Вот харчи, — думаю, — от отца — машина, от сына — снаряды. Ух, не отвертеться немцу!»

— Совсем не такой я хороший, Сережа.

Капитан выхватил планшетку, развернул карту поля и, тыча сломанным карандашом в испачканный маслом лист, сказал:

— Вот. Иду на правый фланг! Приказ.

— Да ведь левый-то важнее?

— Перебрасывают. Приказ. Не обсуждаю. На правый, так на правый... Иду. Возле—как его?—музея, встречаю машины. Медсанбат Бондарина продвигается к правому сектору. Э! Значит, быть там всему пылу. Настасьюшку вижу. Два-три слова. Из них — половина о тебе. Тогда, — думаю, — свиньей мне быть, не заехать, не сказать? Миновало меня счастье, а что поделаешь? Тысячи могут стоять в пространстве. Но в том же пространстве троим тесно. И весь разговор!

— И все-таки на правый — лишнее.

— Приказ.

— Приказ?..

— Приказ, выполненный на «отлично», — победа. Вот и весь разговор. Будет тебе приказ — бить по правому флангу, — ты меня поддержи.

Марк вспомнил множество толстых книг о стратегии и прочем и увидел, что точкой опоры теперешнего маневра немцев является бесповоротная решимость завершить маневр атакой, сокрушающей русских на левом их фланге. А мы в это время отдаем распоряжение отвести войска на правый фланг?! Марк привел из книг много примеров. Капитан слушал, моргал глазами и думал о своем: о Настасьюшке. Удивительный человек! Бой у него должен быть в голове, а он — Настасьюшка! И, чтобы отвлечь его от глупых дум, Марк сказал:

— Что же касается нашего разговора о Настасьюшке, то — ни я ее не люблю, ни она меня, да и не встретимся мы с нею больше. Так сложилась обстановка.

Капитан Елисеев протянул вперед руки, будто думая благодарно обнять Марка, но только хлопнул в ладоши и сконфузился от этого мальчишеского жеста. Чтобы скрыть свою радость, он сделал вид, что очень серьезно думает о стратегических расчетах Марка. Он сказал:

— Ты предполагаешь: немцы обеспечивают внезапный удар на левом фланге и мы тоже маневрируем? Допустим. Но зачем же тогда перебрасывать на правый сектор медсанбат Бондарина? А ты знаешь, он опять открытие осуществляет! Буду, — говорит, — на поле сражения его проверять... И-и, батюшки-светы, Волга-река, времени-то сколько, а мне надо в ноль-ноль...

Он прыгнул в лок и оттуда крикнул:

— Великая у тебя душа, Марк Иванович. Вся в отца!

Ы-ых, Волга-река, и покрошу я нонче немца в ваш честь!..

Танк щеголевато встал на дыбы, боднулся и, прокладывая переулочек в кустарнике, пошел напрямки к правому сектору боя, чтобы, развернувшись, с ходу атаковать немцев. Елисейев думал: «Есть еще по дороге родничок, напьемся студенной...» Он остановился у родничка и зачерпнул котелком водицы, студеность которой отдавалась в висках.

11

В те минуты подполковник Хованский думал о Марке. Только что был получен приказ, подтверждающий приказание, отданное полчаса назад: направить все силы к правому флангу и во что бы то ни стало отбить фланговую атаку немцев, а затем самим перейти в атаку, дабы немцы откатились к Дорохову, где их ждут... О том, что немцев ждут у Дорохова уничтожающие русские силы, подполковник только предполагал, но и иначе быть не могло.

Подполковник вспомнил Марка Карьина и его третью батарею, действующую превосходно и, само собой, явно гордящуюся своей превосходной работой. Он сел в автомобиль и приказал везти себя на третью.

Было это около двух часов пополудни.

Тогда же на третьей батарее ранило Михася Ружого и насмерть зашибло осколком мины наводчика Стремущкина, тощего настолько, что все в нем казалось упрощенным до-нельзя. Зашибло его тоже упрощенно-пустяковым осколком, не крупнее горошины, словно для того, чтобы показать, что смерть и таким делом не гнушается.

Перед смертью Стремущкин, широко раскрыв рот, кричал навзрыд:

— Сестрица-а, сестрица, ох, больно мне, больно-о!..

Минутами сознание приходило к нему. Он глядел на Марка, на приятеля своего Воропаева, губы его не двигались, а взгляд говорил: «Простите, товарищи, много в запас было приготовлено терпенья. Вот нехватает!» И, закрыв бесцветные глаза, он изгибался, выпячивая тощую плотничью грудь. Болтались на материи полуоторванные пуговицы гимнастерки, выпачканные кровью.

Люди убывали. Резервы не успевали пополнять. Остав-

шиеся, собрав силы, отталкивали смерть, но она, упругая как резина, возвращалась снова. Опять распахивалась, визжа на петлях, подвальная дверь неба. Тягучий и смертно-медовый звук немецкого штурмовика простирался над леском, и на мгновение вся земля, отдавая звук, превращалась в деку, в доску инструмента, на которой натянуты струны. «У, страшновато... — мелькало у всех в голове. — А что поделаешь: бывает еще страшней! Где страшней? У кого бывает? Где-то, не у нас...»

И одновременно с этим люди бьются, а некоторые разговаривают так, как недавно говорил милый капитан Елисеев. Поворотливые, расторопные, они презирают врага и уверены, что в конце концов, как ни тяжело, а мы немца побьем. Каждым мускулом, каждым нервом приспособляясь к длительному бою, они твердят: «Не укыврнешь! Будем биться. Будем говорить о своем счастье, заботиться о нем, в размерах дум, какие кому положены от природы. Один из нас думает необъятно, другой — набирает поуже, но все мы гребем в одной лодке, к одному берегу, — везем Русь. Везем, гребем, и плевать нам на тебя, немецкая утроба! Не лезь в терн, обдерешься».

После двух пополудни на батареею приехал подполковник Хованский.

Незадолго перед его приездом отошел Стремушкин. Глаза его совсем обесцветились, слились с измученным темным лицом, лицом походов, горя, ранений, муки нестерпимой, терпения российского. Глаза его были еще полуоткрыты, когда к нему подошел подполковник. Он закрыл Стремушкину глаза и сказал:

— Что поделаешь, дружище, что поделаешь?! — И добавил очень смутно, видимо, занятый другой мыслью: — Знаю, и во сне будешь биться. И трудней, чем нязву, да что поделаешь, дружище!

Он на виду осунулся, постарел, волос его отдавал зеленыю, а лицо потемнело. Глядя сумрачно и твердо, говорил он негромким густым басом:

— Приметно бьетесь, приметно, ребята. Всему Бородинскому полю приметно. Если так и дальше, увидит немец во сне хомут. Так! — обратился он к плотному высокому артиллеристу лет тридцати. — Нефедов, как можешь?

— Да, кажись, сможем, товарищ подполковник, —

зардевшись от радости, ответил артиллерист. — Вот пожрать не дает, сволота, это он сознательно.

— Сознательно, сознательно. Он и на свет-то обнаружил себя сознательно. Да в бреду уйдет, Нефедов!..

Подполковник отошел ко второму орудью, которое было задето неприятельским снарядом. Опытным глазом он осмотрел его, поежился, как будто на сквозняке, и отвел Марка и политрука в сторону.

— Подбили второе?.. — сказал он, и опять в голосе его послышалось, что он думает совсем о другом. — А на сотню выстрелов хватит? Как, лейтенант, сможете?

— Пожалуй, и до трех сотен дотянем, — ответил Марк, пристально глядя на подполковника.

Распоряжения Хованского замелькали одно за другим. Занят он, верно, своей думой, а то и горем, но все же видит он зорко, так, что лишь очень опытный ум разберется в этой суматохе, казалось бы; беспорядочных и даже бесцельных фраз. Через час, как опытейший портной, он заштопал все дыры и прорехи, которые Марку были чуть ли не в диковинку. Выпрямившись, строгий и одновременно очень довольный своей распорядительностью, подполковник сказал:

— Ну, надо нам расстаться...

Провел розовыми ладонями по портупее, темной и лоснящейся от долгого употребления, и, не замечая, что спрашивает уже в четвертый раз, спросил:

— Снарядов хватит на сутки? Бьете?

Марк, объясняя вопрос подполковника усталостью, ответил:

— Попрежнему, товарищ подполковник. По главному направлению немецкого наступления.

— Полагаете, оно там, на левом?

Марк, недоумевая, молчал.

— Вам виднее?

Марк не отвечал.

Короткая синяя тень подполковника движется на отлогий холмик, где еще видны следы танка капитана Елисеева. Ветер наливает сизым его тщательно пробритые щеки. Марк тщетно старается угадать его мысли, но ничего не видит, кроме его тени, сизых щек и широких скул.

В руках у подполковника карта. Он тычет в нее коротким, поросшим рыжим волосом пальцем:

— Вот... вот... Кто у вас на наблюдательном пункте?: А, дельный мужик, способен себя выказать. Но считаю необходимым, лейтенант, и вам встать туда: на непродолжительный срок и проверить.

Марку приятно, что ему разрешили пойти ближе к неприятелю. Но он сознает, что Хованский делает это не напрасно. Что за этим кроется? Почему он вдруг разрешает Марку зайти далеко вперед, когда ранее ни под каким видом не разрешал?

«Вам виднее?» — сказал он насмешливо. А если и на самом деле ему, лейтенанту Карьину, виднее? Мало он посылал разведчиков? Мало приводил пленных? Ведь отовсюду слышишь — немцы ведут основные свои силы на левый фланг, а тут приказывают последними снарядами бить по правому, когда достаточно трех-четырёх ударов по левому, чтобы немцы откатились!

— «Вам виднее?» Да, мне виднее...

На одно мгновение Марк словно бы спотыкнулся, а затем давно знакомая ему злость прорвалась и знакомым жаром наполнила голову. Как всегда в таких случаях, ему стало тесно.

— Товарищ подполковник, — он начал не своим, ворчащим голосом, весь дрожа, нахохлившись и залившись шершавой краснотой: — Товарищ подполковник!..

Хованский, не обращая внимания на рокошующий голос Марка, сказал Воропаеву, заложив руки за спину:

— Благодать-то, Воропай, какая! Сейчас бы зайцы шуровали этим осинничком. да выбегали на опушку, а тут мы стоим...

Он выкинул вперед руки и торжественно, словно подавая святыню, сказал только три слова:

— ...на Бородинском поле!

Замолк.

Замолк и Марк, — недвижимый, разбитый этими тремя словами, тоном, каким они были произнесены. Так вот она какова, грозная музыка боя!

И предстало ему Бородинское поле.

Гордец к гордецу, плечом к плечу, стоят здесь русские. Стоят против всей силы, собранной немцами в Европе, против германских, французских, бельгийских, голландских, датских, норвежских и прочих пушек, танков, минометов, бомбардировщиков. Деды стояли день.

Мы стоим четвертый и еще четыре простоим, не заметив, не дрогнув, не возроптав...

«Не дрогнув, не возроптав? А оспаривать приказ командира — это что такое?»

Чувство вины заполняло Марка так, что он не сознавал, как ногти пальцев впиваются до крови в ладони; Он проклинал свое глупое самомнение, а сказать об этом ему было не под силу.

Подполковник между тем думал: «И не так уж он горяч, как я предполагал. Знать, горячность-то на немца хлынула! Хороший командир выйдет и хорошо по правому флангу ударит. Нет, что ни говори, а наследственность — великая штука». Вслух же он сказал:

— Значит, сокрушительный огонь по правому флангу. И наблюдайте сами, лейтенант, за огнем.

— Есть сокрушительный огонь по правому флангу, товарищ подполковник, — не поднимая еще глаз, ответил Марк. — Есть наблюдать лично за огнем, товарищ подполковник.

Он поднял глаза.

Он увидел широкую голову Хованского, узкие рыскающие его глаза... И какое это превосходное, чудесное, умное русское лицо! Нет выше счастья, как смотреть в это лицо, слушать глухой, пахнувший табаком, голос, быть помощником, сыном... Если этот голос покинет его, Марк умрет с тоски.

— Других указаний не будет, товарищ подполковник?

— И это не легкое, лейтенант. Как, сможете?

— Сможется, товарищ подполковник. Разрешите открыть огонь?..

И на поляне наступила тишина, та приблизительная тишина боя, когда слышишь голос соседа. Батарея готовилась к ответственному поручению, и всем своим существом Марк хотел сказать, что он умрет, но выполнит это поручение... Но сил не было сказать вслух.

Длинные ресницы Хованского быстро двигались. Он, несомненно, сумел прочесть правду на лице Марка, и правда эта понравилась ему. Он повеселел, похлопал Марка по плечу, рассказал коротенький анекдот артиллеристам и полез в свою «эмку».

Через час Марк был уже километрах в трех от своей батареи, на передовом наблюдательном пункте. Отсюда

он руководил обстрелом немцев. Его сопровождал Воропаев, таща за собой ящик с полевым телефоном.

В лесочке, где стояла его батарея, он мог лишь вообразить то, что происходит в поле. Сражение разгоралось. Виденное им позавчера было лишь вступлением в бой, а не самим боем.

Теперь он видел бой!

Перед ним простиралось огненное море, дышащее жаром, грохочущее, плещущее смертью прямо в лицо. Теперь ему стало ясно, почему он опомнился сразу же, едва подполковник назвал ему «Бородино», священное место, где сражались и сражаются русские. Искренне он сознался самому себе, что желает наилучше биться за родину, а значит и наилучше понять себя. Спасибо Хованскому за его чуткость!

Все горит, шатается, колеблется. Немецкие огнеметы сосредоточили свое пламя на двух русских дзотах... Ага! Понятно! Надо заставить немцев повернуть на Дорохово?

— Огонь! — скомандовал он. — Мы их заставим повернуть.

Откуда-то, в обход дзотов, идет немецкая пехота. Марк слышит свист первых пуль, но откуда они — ничего не видно. Впереди холмистое поле, закрывающее горизонт. Посреди поля дерево.

— Придется нам, Воропаев, на дерево лезть, — сказал Марк.

— Скосят огнеметом, да и поджарят, — сказал, смеясь, Воропаев. — Пускай жарят, на то они и людоеды.

Влезли на дерево. Но и оттуда ничего не видно.

— Меньший прицел... — сказал он по телефону. — Огонь!

И оказалось — угадал! Первые выстрелы весьма удачны. Снаряды ударили и по наступающей цепи немцев, и по танкам. Когда Марк, миновав дерево, прополз дальше, к концу холмистого поля, он увидел трупы немцев, сраженные его снарядами, и два случайно подбитых танка.

— Те же данные. Огонь!

В стереотрубу он видит клубы разрывов, поваленные деревья, воронки от снарядов. Мимо деревьев, чуть крепясь, торопятся танки. Он узнает походку капитана Елизеева.

Дальше — немцы. Засек. Огоны!

Клубы приближаются к немцам.

И к ним же приближается капитан Елисеев.

— Куда, под наши снаряды? Куда тебя чорт прет, дурак?!

Танки медленно, словно нехотя, все же приближались к месту разрыва наших снарядов. Марк кричал на батарею, требовал штаб... В густых черных потемках дыма, там и сям, обозначались резкими толчками машины Елисеева. Изредка, с ходу, они стреляли, и тогда дымную темноту прорезал оранжевый луч света.

Должно быть, за танками шла наша пехота...

Помнит Марк, что до боли в глазах он вглядывался в пожарища, в танки. Но дым от взрывов, вздымающиеся воронки не давали возможности ничего разглядеть. Подзадаривая себя воспоминаниями, он рисовал очертания танка, на котором приезжал к нему Елисеев, — именно этот танк видит теперь Марк!

Именно этот танк взметнуло вверх, вбок и шмякнуло оземь так, что звук упавшего железа донесся сюда...

Именно к этому танку спешили, — идя от волнения в рост, — наши санитары, санитарки... Скорей, скорей!..

И именно к этому танку бежала тоненькая девушка, за нею врач с длинной сумкой... Да скорее же!

Наискось, по направлению к тому же подбитому русскому танку, идет цепь немецкой пехоты. Если бить по немецкой цепи, то ударишь и по своим?!

— Те же данные... Огоны!

Помнит Марк: после залпа с осторожностью, — хотя для чего, непонятно, — приподнялся он на руках и поглядел вперед. Теперь дым походил на темные окна. Уцелевшие березы походят на рамы. И в окнах пустота. Смерть?

От земли пахнет мятой. Он уперся в засохшие стебли ее и раздавил, вытер скользкое и словно бы линяющее лицо; тотчас же мучительные думы охватили его: «Куда они девались? Что с ним стало?.. Отступили наши? Где немцы?..»

И, будто отвечая на его вопрос, вокруг него опять завизжали пули. Значит, немцы перебили наших и приближаются? Значит, погибли Бондарин, Настасьюшка, капитан Елисеев, сотни превосходнейших русских людей?

Погибли и не отомщены?!. На Бородинском мы поле или нет?

Он закричал:

— Еще левее... огонь! Безостановочно, слышите?

Утомленный, измятый, он полз назад перед самой цепью наступающих немцев, все время указывая цели своей батарее. Падали немцы, падали их танки, — и каждый раз он возвышал голос и резко указывал еще более точную цель. Наконец он подполз к первым деревьям лесочка, где стояла его батарея. Он прислонился туловищем и горячим лицом к прохладному стволу дерева, и ему показалось, что сейчас откроется дверь и он войдет в большую прохладную комнату, — там он отдохнет вдоволь.

— Товарищ лейтенант, — услышался откуда-то с вершины гула голос Воропаева, — какие распоряжения?

— Биться! — ответил лейтенант. — Биться, чорт их дери, до последнего...

И, оторвавшись от ствола, он вошел в лес.

Лес уже горел.

Ело глаза. Затыкало глотку дымом. Ветра не было, и закатное солнце похоже было на вымытую луну.

С востока прислали пушки, но артиллеристов не хватает. Если расставить всю прислугу, превратив ее в наводчиков, то и тогда нехватит.

Он бросился к телефону.

— Держись, — ответил Хованский. — Найдутся артиллеристы — пришло. Не найдутся, держись все равно. Сможешь?

Марк, согнувшись над телефоном, неуклюже и хрипло смеясь, ответил:

— Сможется, товарищ подполковник.

— Значит, свидимся.

Щелчок. Подполковник положил трубку.

Марк не помнил, в какой последовательности шел дым от горящего леса и в какой последовательности шли атаки танков на этот лес. Иногда сквозь дым и треск падающих деревьев доносился к нему вдруг визг собак, нивесть зачем появившихся.

Мимо пробежали пехотинцы: выбивать немцев из захваченного ими дзота. Выбиди, вернулись, — перекололи парашютный десант.

— Огонь!

Ночь. Ночь на Бородинском.

Немцы бьют из пулеметов трассирующими пулями:

Зажигают фары танков... Наши, навстречу фарам, свет десяти прожекторов.

Вечер был бы совсем прохладен, кабы не дым. С какой радостью глядели, когда орудия выкатились из леска, оставив позади себя догорающие деревья. Выстроились в линию, нашли родничок, умылись.

Шурша соломой, подошел Воропаев.

— Присядьте, товарищ лейтенант, — строгим голосом сказал он, — закуты нет. Да и к чему? Солнце встанет, немца лицом к лицу встретим. Он ждет. Я соломки подстелю.

— А ты, Воропаев? — с усилием спросил Марк. — Подполковник звонил: ты произведен в сержанты. Как сможешь?

Воропаев сказал с простотой, которая казалась даже искусственной:

— А я, как все, товарищ лейтенант. Пятый день смогли, сможем и десятый. Только бы по двести грамм сейчас, это бы да!

Марку не хотелось водки, но не хотелось и огорчать Воропаева.

— К вечеру подполковник обещал исхлопотать.

После прохладной воды руки горели. Горело и лицо. С жадным вниманием приглядывался Марк к своим потемневшим и дрожащим рукам, пытаясь усталостью объяснить то, что происходило у него в сердце. Он верил в проницательность Хованского, в его знание военного дела, но, с другой стороны, разве Марк не видел Елисеева, Бондарина, Настасьюшки и разве не над ними, милыми и хорошими, разорвались снаряды, посланные по его, Марка, приказанию?!

— Воропаев, у тебя зеркальце...

— В мешке, товарищ лейтенант.

— А, вспомнил. У меня есть...

Потолок, неожиданно оказавшийся над ним, резко рванули. И тут же, еще более резко, рванули из-под ног землю. Вслед за тем открылось бесконечно широкое и бесконечно глубокое пространство. Не закрыть глаза нельзя. Он сделал движение рукой, как бы запахивая шинель, и закрыл глаза.

Разорвавшаяся на холмике в наполовину затоптанных следах от елисеевского танка вражеская мина сбила

Марка с ног, и осколки металла врезались ему в бедро и в плечо.

Полчаса спустя наши войска перешли в контр-атаку, и немцы повернули на Дорохово.

12

Когда орудия действовали исправно и били точно, Марк думал, что действуют и бьют они так потому, что из штаба полка ему дают замечательные приказания. А когда орудия стреляли плохо и расчеты суетились без толку, Марк думал, что вся эта бестолковщина от запоздавающих приказаний. Он и не замечал того, что полк уже давно не дает ему приказаний, ограничившись регистрацией того, что Марк делает.

— Не трогайте его, — говорил, с трудом скрывая свой восторг, Хованский. — Он попал на дорогу. Не сбивайте!

Изредка Хованский брал трубку и был счастлив слышать приглушенный расстоянием молодой голос Марка Карына:

— Сможется, товарищ подполковник.

Это «сможется» уже обошло Бородинское поле и покатилося, подхваченное ветром войны, дальше, по всему полю сражения, от Баренцова до Черного...

Марк не знал этого.

Не знал он и того, что произошло с капитаном Елисеевым.

Капитан, попив воды из родничка, пришел на правый сектор и стал в засаду, прикрывшись плотными и приятно пахнущими кустами черемухи. Загремели батареи. На поле, развернутым строем, выходили немецкие танки. Капитан насчитал их сорок два и, чтобы не огорчаться, перестал считать. «Сорок против троих, четверста против троих, — все равно не поверят», — сказал он сам себе, внимательно наблюдая за противником.

Видны башни, тускло поблескивающие от свежего утреннего воздуха.

— Понадуло смерти во все щели, — сказал, посылая бронебойный снаряд, капитан Елисеев. — Обидятся на меня немцы, а иначе нельзя.

И он послал еще снаряд.

От первого снаряда свернуло башню головному танку; от второго — дым, грохот, взрыв; от третьего —

громоздким машинам захотелось вдруг искать другую дорогу, менять курс, увеличивать скорость; от четвертого — «Ага, понадобился кобыле ременный кнут!» В тот момент, когда залпы батареи Марка Карьина пришли на помощь, в поле уже пылало семь немецких танков. И кто знает, запылал ли бы восьмой, потому что немцы уже нащупали, откуда идет уничтожающий огонь, и два прямых попадания уже грохотом отдались в елисейском танке... помогла карьинская броня, помог сыновний огонь.

— ...Наделили талантом всех родных—и отцов и сынов, спасибо!.. — сказал капитан Елисеев, зажигая восьмой немецкий танк.

...Не знал Марк и того, что произошло с врачом Бондаринным.

Втайне, уже несколько дней, надумал и приготовил он новое противогнилостное средство. Проверить легко: раненых не успевают перебросить в тыл, а некоторые, заслышав о Бондарине, приходят издалека. Проверил. Разумеется, от той перевязки, которая натолкнула его на мысль о новом средстве, не осталось и следа, да и дело оказалось не в перевязке. Но Настасьюшку он уважал, надышаться не мог на ее молодой и радостный талант. Он с нею первой поделился своими выводами и показал первых, излеченных им, больных. Три часа назад был на розово-синем теле отвратительный гнойник. Настасьюшка сама омывала его. А теперь уже и тело приобрело другой вид, словно бы оттаяло, и гнойник исчез бесследно.

— Дмитрий Ильич, счастливый вы! Как оно на вас налетело?

— Напился допьяна, вот и налетело, — нарочито грубым голосом сказал Бондарин. — Налетел, голубушка, «тампон Бондарина» и всех с ног сбил.

Ночь напролет Бондарин писал в Медсанупр свою «заявку». Поутру он пожелал непосредственно на поле сражения проверить действие своего «тампона». Тампон не только удаляет гной, но сразу же, приложенный к ране, затягивает ее. Уговоры были бесполезны, да и не особенно уговаривали — работы много, врачей нехватает, хочет в поле — иди, не маленький ребенок.

Настасьюшка пожелала сопровождать его. Прощел слух: ранен капитан Елисеев, но о том, что слышала

она об этом, Бондарину не сказала. Он проговорил, глядя в ее глаза, голубые, словно налощенные морем камешки:

— Надо итти туда, куда вас, пичужка, зовет не сердце, а долг.

Она не поняла его.

— Куда меня зовет сердце, Дмитрий Ильич?

— К щеголю зовет, пичужка.

— Он не щеголь.

— Догадалась? Капитан Елисейев — щеголь: бой ведет щегольски. И не верю я, что он ранен... — Он подумал и добавил: — Абсолютно не верю. Такого человека не убить немцу, не ранить: он слишком ловок. Марка Карьина могут надломить. Горяч, упрям, а ловкости немного нехватает: на вершок. Впрочем, приобретет... Знаете, когда капусту квасят, так для гнета кладут сверху камень. Война тем же самым занимается по отношению к Марку Карьину... Так-то, пичужка!

Он осмотрел полевую сумку, все ли взято, ощупал карманы, нет ли чего лишнего, проверил, правилен ли адрес на «заявке». Настасьюшка стояла, опустив руки. В глазах ее он читал тоску. И он поднял ладонь ко лбу, как бы заслоняя глаза от солнца. Под жужжание голов раненых и санитаров, измученных боем, он думал. Открытие, совершенное им, помогло ему как бы встрепенуться. Он почти невзначай сказал о капитане Елисейеве, а вдумавшись, понял, что надо кое-что досказать. Миленькая пичужка любит капитана и сама себе еще не призналась в этом. Что же касается Марка Карьина, — то какие ж мы дети! В сущности говоря, ни ей нет дела до него, ни ему до нее. Дай бог, если они останутся друзьями, да и это надо ли? Разные люди, разные пути.

Приучив себя говорить людям, которых он уважает, все, что он думает о них, Бондарин высказал свои мысли Настасьюшке. Она малость подумала и с поразительной простотой, ей свойственной, ответила:

— Вот и верно, что пичужка. Посмотрел в мою маленькую душу, да сразу и понял. Люблю, Дмитрий Ильич. — И она добавила: — А мне, значит, лучше итти к батарее Карьина? Жалко мне Сережу бросать и вас, Дмитрий Ильич, оставлять жалко. Вы меня известите, в случае чего.

— Обязательно, пичужечка.

Известить не удалось.

Бондарин успел наложить «тампон Бондарина» троим раненым. Возле четвертого уложила Бондарина немецкая пуля. Случилось это перед тем, как Марку привиделся в поле танк капитана Елисеева, который в то время стоял в засаде; почудилась ему и фигура Бондарина, который хотя и шел по полю, но по другую сторону черемуховых зарослей, как и не мог Марк, само собой, видеть в поле Настасьюшка.

Не мог видеть потому, что в это время Настасьюшка, два медика-студента и санитары пробирались горящим лесочком к батарее лейтенанта Карьина, который с непонятным умением и поразительным упорством отбивал все атаки немцев и подготавливал нашу контр-атаку, ломая у немцев коммуникации...

Без памяти был Марк, не знал он и не видел, как маленькая девушка, «пичужка», после того, как убили санитаров, ранили студента-медика, сопровождавшего Марка, взвалила его к себе на хрупкие плечи и, помогая студенту, вынесла Марка из-под огня.

Не знал он и того, что, услышав о ранении Марка, подполковник Хованский охнул и уронил со стуком тяжелые, словно мертвые, руки на стол.

— А все равно не отойду, — сказал он. — Пока сочится кровь, не отойду! И никогда не отойду. Будем биться!

Он приказал соединить его с третьей батареей.

— Кто говорит? — спросил он сурово.

И услышал:

— Сержант Воропаев, товарищ подполковник. Принял командование батареей, держусь. Извиняюсь, немцы приближаются. Отобью атаку, доложу об ихних потерях, товарищ подполковник. Скажите только, лейтенант Карьин, Марк Иванович, жив?

— Жив, жив, — торопливо ответил подполковник, не веря своим словам. — И будет жив, бейтесь!

— За нами дело не станет... Извиняюсь, идет!

Марк полуоткрыл глаза с трудом. Веки словно свинцовые и еще по краям посыпаны песком.

Он увидел мелкую речку с длинной, не по ее размаху, широкой отмелью. Словно от стыда за свое хвастовство,

речка скрылась в кочках, потемнела. На песке — следы птиц, улетевших отсюда последними... Ветер свежит птиц, заносит следы птиц... И Марку не хочется ни о чем думать. Заносит, и пусть заносит.

Возле борта машины усталое лицо Настасьюшки с мокрыми волосами, приставшими ко лбу. Глаза ее широко раскрыты, будто выкатываются. «Что с вами, Настасьюшка?» — хочет спросить Марк и раскрыл было рот, но равнодушные, наполняющее его голову, опять сдвигает губы. Кончик носа у нее синее, на скулах коричневатая краснота... Пусть!

Милое детское личико. И пусть!

Милое отцовское лицо. Чье? Хованского? И пусть.

Они о чем-то говорят. Кажется, о том, хватит ли по крышек до Москвы. «Какой вздор? При чем тут по крышки?» — подумал Марк, и ему отчетливо вспомнился обрывок разговора с Бондариним. Говорили о том, что Настасьюшка не любит читать книги.

Книги? Разве дело в книгах? Дело в любви. Сейчас это видно совершенно отчетливо, как вон те следы птиц на песке. И странно, что его волновали и возмущали в ней какие-то пустяки, а главное не взволновало его, главное-то он увидел сейчас.

Честолюбие, которым она бахвалилась? Ах, какая чепуха! Или она лгала на себя, — сознательно, может быть, даже, — или же она заблуждалась? Разве люди с такими страдающими глазами способны быть честолюбивыми? Ну, что она сделала для своего хваленного честолюбия? Ничего. А если прикажут, она без промедления, немедленно отдаст жизнь за... как это отец читал... «за други своя»? Отдаст красоту, молодую и горячую кровь, погасит прелестные голубые глаза с тонкими детскими бровями. Честолюбие? Нет, не честолюбие, а скрытность великолепной души, прикрывающей себя, как крыльями, этим честолюбием!

Для человека, так же как и для картины или архитектурного сооружения, необходим ракурс, точка, с которой возможно разглядеть его по-настоящему. Для Марка, разглядевшего сейчас Настасьюшку, таким ракурсом была мокрая прядь волос на ее усталом от работы и волнений, чудесном и умном лбу.

Разглядеть он ее разглядел, но думал о ней с холодным равнодушием тяжело больного человека. Мелькнул в его воображении лесок, по которому на носилках

несли его. И ему пригрезилось, что несла его Настась-юшка. Но попрежнему холодно он думал о шающем лесе с его запахом сырого дыма и о руке Настасьюшки, которая поддерживала его голову. «Если так... значит, конец?» — подумал он и хотел сказать прощальные слова, но желание появилось и ушло быстро. Его молодое лицо приобрело цвет металла... оно было страшно.

«Если бы жив был Бондарин...» — подумала Настась-юшка и заторопила шофера:

— Скорей в Москву! Записку не потеряли? Шофер, когда вы поедете через Бородинский мост...

«Позвольте, — сказал сам себе Марк, — но ведь я на Бородинском поле?»

Он думал, что эти слова взволнуют его, — они не взволновали. Мало того, показалось странным, что недавно лишь намек на значение Бородина остановил дикую вспышку свойственного ему гнева, а теперь...

«Конец, — подумал он, — конец тебе, Марк?»

Машина прошла не более шести километров, как оказалось, что до конца жизни еще далеко. Равнодушие кончилось. Вначале разбудила колющая боль в боку, затем он наполнился злобой, когда увидел толпы беженцев, и особенно поразил его седой интеллигент. Серый просторный костюм его был выпачкан грязью, известкой и разорван на коленях. Он шел быстро, почти вровень с машиной, сжав в кулаки пальцы и вытянув их вперед. Брови его приподняты, рот раскрыт. Он выкрикивает... и от криков его хочется повернуть машину, вернуться к своим орудиям, бить, бить, дни и ночи напролет!.. Было трое детей, племянница, мать, жена... жили вместе...

— Будь вы прокляты, прокляты, прокляты!..

И кажется так, через всю Россию, идет этот несчастный, у которого немцы убили все, что можно убить... убили и разум его... потому что, кроме вот этого «будь вы прокляты», он уже ничего выкрикнуть не в состоянии...

И Марк повторяет:

— Будь вы прокляты, прокляты!..

Машина повернула к Москве, увозя его, потерявшего сознание.

...Перед тем как пробудиться и приподнять голову, чтобы наполниться необычайным счастьем жизни, которого он не испытывал никогда, он пробуждался не-

сколько раз. Он видел белый квадрат палаты и себя в центре этого совершенно равнобедренного квадрата. От равнобедренности кружилась голова, и он спешил закрыть глаза. Ему казалось, что он шагает по квадратам, поднимается, опускается, опять поднимается. День жаркий, солнечный, квадраты стоят на теплой песчаной отмели, и он слышит:

— Тампон Бондарина!

Плеск воды. Блеск металла. Что-то теплое, приятное вливается в его тело. И опять голос:

— Тампон Бондарина!

Знакомая фамилия, но он не может вспомнить, чья она.

Это его почему-то сердит, и когда он снова открывает глаза, он спрашивает сестру, вытирающую ваткой термометр:

— Кто такой Бондарин, сестра?

— Не знаю.

Увы тебе, Бондарин! Тебя постигла участь многих знаменитостей — остался титул, произведение, «тампон Бондарина», дарующий жизнь, а кто был открывший его, что его мучило и что ему мешало, кому это известно?

14

Марк поднял воротник тулупа и сел в машину. И опять Бородинский мост, грузовики, недостроенные дома.

За Кунцевом, едва они миновали столбы высоковольтной передачи, машину встретил злой северный ветер. Он будто железной щеткой мел широкое шоссе, подсакивал к машине, тряс ее, стремясь сорвать на ней свою непонятную злобу. «Крути, крути немцу хвост, а не мне», — думал Марк, глядя, как ветер крутит стеганный капот на радиаторе и глушит пар, выскакивающий из под плохо завинченной крышки.

Чем дальше по шоссе, тем меньше плакатов и тем больше надолб, скрещенных и скрепленных попарно железных балок. Начали попадаться немецкие мины, сложенные по обочинам шоссе кучками. Металлические края их прихватил иней. В одном месте ветер раскидал снег, выкопав что-то серовато-коричневое, скорченное, похожее на камень. Шофер, безбородый, молодой, передвинул папироску из одного края рта в другой и сказал:

— Успокоился. Видно, машинку не ту встретил.

— Неужели немец?

— Парашютист, кажется. Их тут много выдувает, товарищ старший лейтенант. Сорвали голову на Москве, ну и обижаются.

«Скоро? Скоро?»—думал Марк. Мучительно хотелось поскорее попасть к своей части, обнять Хованского, получившего звание полковника и уже командующего дивизией. Большое открытие сделал покойный Бондарин, а вот в диагнозе Хованского ошибся. Нашел рак печени, а оказалось, что у полковника обыкновенная малярия и достаточно было принять хинин!..

За Дороховом свернули на проселок. Здесь, возле полусожженной сторожки, в три часа дня будет ожидать, — так вчера сговорились по телефону, — капитан Елисеев. Он едет куда-то в объезд Москвы.

А место унылое, не для встреч. Равнодушные, обгорелые бревна, клочья грязной соломы, торчащей из снега, мелкий осинник, тщетно пытающийся закутаться в снега. Холодно ему, дрожит он... И ветер здесь тоже какой-то промозглый, невеселый. Марк посмотрел на часы. Ого! Половина четвертого? Придется подождать. Все равно темнеет теперь рано и ехать придется ночью.

Шофер морщится. Ждать ему не хочется. Марку скучно смотреть на его будничное и скучное лицо с постоянно торчащей тухнувшей папироской в углу рта. Он отошел в сторону и присел поодаль, позади дома. Здесь тише, не дует, и приятно думать свои хорошие, добрые думы.

Вот неподалеку Бородинское поле. Сейчас оно неподвижно, занесено снегом, торчат кое-где остатки разбитых немецких танков, валяются каски, побелевшие от мороза, следы немецкого отступления. А что было недавно — осенью? Как тремели орудия! Как много стояло народу... и как много полегло его... полегло...

«Не отдали Москвы!»

«Не отдали», — повторил Марк, и ему особенно приятно, что есть какая-то маленькая буква, принадлежащая ему, в длинной поэме о том, как не отдали Москвы. Хорошо! Хорошо глядеть на этот снег, нежно опускающийся к дороге, хорошо слушать осторожное поскрипывание валенок шофера, подшитых кожей, хорошо ждать приятеля, хорошо его расспросить и, наконец, очень хорошо думать о себе, что ты изменился, стал другой, строже, умнее и что все твои страхи, которые ты испытал там, на Бородине, осенью, не опустошили тебя, а, наоборот, многому научили и продолжают учить.. В

голове зашевелилась ленивая мысль: «А хорошо бы, пока не стемнело, развести под елкой костерик, погреться, — в машине продувает». Но лень встать, распахивать теплый и приятно пахнувший тулуп, лень вообще шевелиться. «Вот оно, — как замерзают», — сонно думает Марк, зная, что не замерзнет в тулупе, валенках, стеганой шапке и вязаной безрукавке. Так просто захотелось побаловать себя, вспоминая о Бородинском поле, думая, что впереди еще предстоят Бородинские поля.

...Из-за угла дома он слышит приглушенные голоса. Шофера о чем-то спрашивают. Елисейев? Сережа? Марк вскакивает и бежит. Три мужика, волосатых, страшных, заиндевевших, в лаптях и рваных полушубках, рваных валенках, держа вилы наперевес, ведут пленных чеченцев. «Десант, что ли, переловили? — думает Марк, здороваясь с мужиками. — Откуда тут быть пленным? Фронт дальше». Он спрашивает мужиков. Они раскрывают большие крестьянские рты и замерзшими губами, наперебой, начинают что-то кричать. «Подожди, подожди, не путай меня, — говорит Марк мужику постарше: — Говори ты, куда немца ведешь?» — «Немца-то! — кричит обрадованный почтительностью офицера мужик. — Немца-то сдавать, ваше благородие, ведем. Князь Хованский, — сказывают, — принимает пленных. Нам их велено сдать, промерзли мы, ваше благородие. Где тут князь-то стоит?» — «Подожди, подожди, — говорит Марк, — какой князь? Откуда вы пленных взяли? Откуда ты ведешь-то? Кто ты такой?» — «Да партизаны мы, ваше благородие. Поручик Иван Карьин забрал их, немца-то, пушкой пугнул и велел вести к князю Хованскому, он, — говорит, — принимает». Второй мужик подхватывает: «Промерзли мы, ваше благородие, сдать их никак не можем, надоели они всем, ни люди, ни земля тех немцев не берет. Вот и ходим мы... Помилосердствуй!...» — «Позвольте, позвольте, — волнуется Марк, — но это же я Иван Карьин, и разве Хованский — князь, какой же он князь?!» И смотрит на дорогу. Дома нет. Машины нет. Елка, под которой он сидел, крошечная, еле видна из-под снега, а вместо осинника стоят широкие сосны. «Позвольте, — думает Марк, — как же так, ведь нынче 1942-й год, а не 1812-й».

...Он услышал смех. На него бросилось что-то мохнатое, ловкое. Его тормозят, обнимают. Перед ним чудесное, милое лицо капитана Елисейева. Нагнувшись к уху Мар-

ка, капитан шепчет, что все замечательно, что он очень доволен, что Хованский ждет не дождется, что на батарее все живы-здоровы и рады его видеть, что Воропаев уже вернулся... Откуда? Да он кончал школу и теперь, обученный, будет командовать третьей, которая действует здорово...

— А Настасьюшка? — спрашивает Марк, и хотя ему приятно будет узнать о ней, но он сознает, что вопрос этот вошел в его голову лишь потому, что надо узнать обо всех. Он помнит что-то опрятное, голубое, необыкновенно внимательное, — и всё. Ни лица ее, ни фигуры явственно он представить не в состоянии. Если можно так выразиться, она стала для него отвлеченностью. Даже странно слышать оттенок благодарности в словах Елисеева: он все еще думает свое — «дескать, отказался Марк, сознательнейше взвесив «за» и «против». Какой вздор живет иногда в голове очень умных и здоровых людей, вроде капитана Елисеева. Понять бы ему: был мальчик, думал исправить ошибку отца, — ах ты, юноша, — а прошло время, сделался взрослее, понял, что не всё исправишь в мире, да и не всё надо исправлять.

Елисеев шепчет.

— Настасьюшка, друг, идет далеко! Она уже заправляет медсанбатом. От нее ждут бондаринских способностей. Касаясь личной жизни, скажу, что мы соединились навечно. Да что я? Она, коли надо, гвоздь из стены взглядом вырвет: выдающаяся личность. Играй, ветер! Шуми по этому случаю, песня. Пляши, жизнь! А помнишь?..

— Что, Сережа?

— Помнишь, немец нас все с фланга брал? А теперь мы ему под фланг подобралась, да так загнем полу, что бежать ему не убежать! Мы теперь так живем: маневр и атака. Маневр и сокрушительная атака! И ты, Марк, тем же жить будешь. Это очень интересно!

Он стоит перед ним, распахнув полушубок и не обращая внимания на холодный ветер. На золотистых бровях у него повисли сухие прозрачные январские снежинки. Руки у него — словно из меди, а лицо — огненное от заходящего солнца, глаза, — прикажи только, — способны пробуровать насквозь землю. Как с ним приятно быть вместе, а того приятней дружить!

Они долго стоят на январски звонкой, закатно-золотистой дороге, смотрят друг на друга и не на-смотрятся. На душе у них просторная весенняя от-тепель. Они — друзья навсегда, навечно.

1943

СОДЕРЖАНИЕ

Петя-Петел	3
Мрамор	10
Горе	17
Поединок	25
К своим...	44
Быль о сержанте	73
Генерал Орленко и его народ	93
„Слово о полку Игореве “	107
При Бородине	115
Близ старой Смоленской дороги	131
На Бородинском поле (повесть)	144
